

ВРЕМЯ И МЫ 86 1985

НОРМАН ПОДГОРЕЦ И МИЛЬТОН ФРИДМАН ДАЮТ
ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"



"Я думаю, что если Израиль, не дай Бог, будет уничтожен, то исчезнут и евреи в других странах... Евреи не выдержат второй Катастрофы в нашем столетии".

Норман ПОДГОРЕЦ,
редактор "Комментарии", стр. 120



"Реальная общественная проблема состоит не в том, как устроить, чтобы хорошие люди творили добро, а в том, чтобы обыкновенные люди приносили как можно меньше вреда".

Лауреат Нобелевской премии
Мильтон ФРИДМАН, стр. 125

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Одиннадцатый год издания

**Выходит один раз
в два месяца**

86
1985

НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1985

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
АСЯ КУНИК (отв.секретарь)	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала
в Западном Берлине
Juscwa Mischijew
Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

ОСР и вычитка - Давид Титиевский, май 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
Андрей ПЛАТОНОВ	
Бессмертие	5
Легенда	25
<i>Лев НАВРОЗОВ</i>	
Сто сотых	34
Сладкие дни	42
<i>Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ</i>	
Воскрешение	56
ПОЭЗИЯ	
Иван ЖДАНОВ	
Иуда плачет — быть беде	65
Теодор ГЛАНЦ	
Мир, похожий на бедлам	73
НАУКА. ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ	
Борис МОЙШЕЗОН	
О человеческом мышлении и компьютерных идолах . . .	80
Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ	
Москва: сентябрь 1985-го	91
Александр ФИН	
Еще раз об "алгебре совести".	99
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ	
Норман ПОДГОРЕЦ	
Евреи в современном мире	109
Мильтон ФРИДМАН	
Правительства против свободного рынка	123
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
Лев ТРОЦКИЙ	
Почему они каялись (публикация Ю.Фельштинского) . . .	134
Р. ИВАНОВ-РАЗУМНИК	
Судьбы писателей	209
ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"	
Путь мастера	234
Digest of this issue	246



Андрей ПЛАТОНОВ

БЕССМЕРТИЕ*

После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон, закричал и заплакал паровоз ФД. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась — на материнском крюке ее тендера висел беспомощный, тяжеловесный состав, а на входном светофоре был сделан красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара — сигнал светил устойчиво — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ноч-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737 7061

* В этом рассказе нет фактов, хотя бы в малой мере не соответствующих действительности, и нет фактов, копирующих действительность.

Рассказ печатается с небольшими сокращениями. Полностью будет опубликован в альманахе "Часть речи", посвященном А.Платонову, М.Булгакову и М.Зощенко (издательство "Серебряный век").

ной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, поездил по земле. Он не выругался в тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн и бандажи паровозных колес будут выбирать своим трением огонь из замерзших рельс.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогалась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле до отказа. Клапан баланса то рычал в воздухе паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руку поводок сирены.

Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрехали собаки, которых, вероятно, обеспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак...

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушивалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо по отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило! — заговорила кухарка для себя. — Либо другое сказилось что, а бис-автоматчик спит!.. Ну что ж это такое, ну не мученье, ну не разложение это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она, босая, подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с перегона. Но в комнату она не вошла: она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?.. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон, кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого... Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит... Обожди минуту! Послушай горку!..

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя пошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко посвистывал маневровый паровоз. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак не принимают?.. Где транзитный состав из нулевого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович. Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу... Что? Нет: я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

— Ну не демоны, не чертячи это остатки!.. Скажусь-ка я Лазарю Моисеевичу про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтоб спать хозяину в сутки давали...

Большое тело Галины болело по транспорту, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу. Сперва, когда Галина узнала такую жизнь, она решила: меня насколько то не касается, откуда люди беду себе в душу пускают, — я пешком буду жить, а грузную тяжесть за плечами унесу, — мне что паровоз, что вагон, ничто ни к чему, — я ведь женщина — девка такая!

Однако Гале вскоре же нечем стало жить: ни для сердца, ни для симпатии, ни для думы не находилось никакого приращения, поскольку она хотела существовать пешей в оди-

ночку, а еду носить в котомке за спиной. И тогда, склонившись в силу жизни к людям, она стала разделять их участь и тревогу, а пешей жить, хоть и могла, но не хотела: не стало интереса.

Она долго еще не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом от работы своего мощного сердца.

— Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по путям! — думала она. — Люди говорят, от холода рельсы пополам трескаются... Не то нынче треснут, не то нет! Пускай бы уж нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет. Завтра надо ему сметаны купить. Чегой-то это колхозники возить ее мало стали: сами лопают, зажиточные черти, ишь, морды какие в степях живут! — Галя вспомнила лица знакомых колхозников. — Обрадовались теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость, — мы — селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вон он класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит...

Сама Галя тоже была колхозница-господарка, однако сердце ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости — масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поскорее, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила втайне потягивалась, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая точка, она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз, — точно горел светильник на удаленном посту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

* * *

Наутро Галя взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую давно, в старинные года, из кусков юфты и украинского полотна; не однажды Галя латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку; он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проездил по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства, — только окружающее государство добрело от товаров, от многолюдства, от движения тучных поездов. Казалось, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галя уже не застала хозяина; зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимут-рокских кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадров портят...

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — советская власть — танцевало перед вами, — я вам не она!..

— А что ж ты, раз ты не она? — спросил Полуторный. — Контр, что ль?

— Он! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал, что он не знает, как быть и круглые сутки тоскует: у кур его нету подходя-

щего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце, находит себе утешение!

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куро-вода в Изюме, он мой знакомый... Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу...

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай его баба-жена займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы пожарил всех кур на закуску к наливке... Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх, жизнь, когда ты сорганизуешься, чтоб уж не чутя тебя?

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости, на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезда... Самому нельзя сделать работу тысячи человек; его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система работы лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался. Он был один; со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности прос-

тое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согреть другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы... Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее: у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда, от которой до костей прозябает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в корень своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неощутимо, почти бессознательно борется с внешним наступлением личных, интимных, потрясающихся сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович... Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик; его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин.

Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что ее прямо не касалось, она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси веник, поговори с его женой... Ступай, хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел не-

знакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

Здравствуй... Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу идти...

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же... О, Господи!

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли... У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, а теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палеток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а оно в прах пошло. По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено преет, а ты только вздыхаешь, ходишь...

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела...

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела, — по-дурацки, по-кулацки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чертовой матери.

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове...

— Зачем тьма!.. У меня мысль!

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало... Тьма у нас ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна... Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь...

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на север — на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве работал Каганович, жила жена начальника станции. В сумраке вагонного окна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, — тоже живущих себе здесь в своих на-

деждах и заботах, — и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия этого места потом не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же возразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне?

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав больше о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права, судьба необратима, и у начальника станции есть уже вторая, любимая жена, есть девочка-дочь, с которой он выйдет под руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно к пассажирскому составу. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура, в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разглядывали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать; свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одинокий человек, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. "Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей... А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить в семействе с женою среди родных детей".

* * *

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович. У конторщика жена на шпалоза-
воде работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь замком
закрыта... Ведь это что за жизнь: ну прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате ж, в ихней же хатке... Дитя одно целый день
живет: отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эм-
мануил Семенович! Их пора организовать!..

— Ступай возьми у конторщика ключ от его хатки, — ска-
зал Левин, — посиди с ребенком, пока отец с работы не при-
дет. Сейчас его некем сменить...

— А обед кто вам сготовит? А кушать чего будете? — вос-
кликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить на-
тощак...

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя мати!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не
ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко опять приедет,
а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут, — а
где твоя кухарка-гадюка, отчего ты постный такой, — а ну
пускай кухарка за то дело в лес поедет, десять лет на тыщу
человек борщ варить!.. Так добрее же будет взять того мальчика
в одеяло с собой на квартиру, обед сготовить и с ним поцац-
каться...

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на гор-
ку и на контрольный пост. Ночью замазали, выбили из гра-
фика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие
аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал,
что маленькие происшествия — это большие катастрофы,
лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к
себе ночного командира по отправлению, который еще бро-
дил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. Раньше ты го-
ворил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомил-
ся, — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе не хватало зарп-

латы, — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, ком-
пенсации... Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве
смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки... Что с
тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник...

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный чело-
век, может — беднее, несчастнее тебя! — воскликнул Левин,
упустив на мгновение свою волю. — Я сам буду дежурить за
тебя сегодня в ночь: ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а
завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали
партийный билет...

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного
ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой, — сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами по себе побежали по
его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу
вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил
ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики; Левин сказал
им, чтоб они говорили только о мелких подробностях рабо-
ты, главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии —
ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер сошел на стрелке, отчего это бы-
ло? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — ска-
зал Захарченко. — Меня рвать вчерашней едой начало от
совести...

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сошел хоппер, — объяснил за него
Левин. — Ты дремлешь на работе; опоздал посигналить на
пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном... Ты жа-
ден, Захарченко! Ты живешь за десять километров отсюда, и
дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, при-
едешь, сразу сядишься за гончарный круг. Поспишь потом

немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства, потом сюда едешь... Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной, тебе спать надо, а ты за поезда берешься... Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, более никак не выходит, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но это мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше: горшки нам нужны, горшков не хватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим, и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял?

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь...

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная... Может, потом застервеет...

— Не застервеет: воспитаем,отрегулируем. Ты ее сам не испортишь...

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник...

— Гляди! — сказал Левин. — Живи хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица. "Эх ты, жлоб московский, жадный черт! — сказал он в стекло. — Блинцы только любишь глотать... Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы глиняные..."

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки, — то замедлители пасовали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострялся и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и вни-

мания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила, хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился...

— Пускай учится, — сказал Левин.

Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуются тогда! Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой... Хочу, говорит, один французский язык, это культурность! А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала, из ружья в точку стреляла, детей чужих в саду за ручки водила, — и все ни к чему. А потом за куроводство взялась, а сейчас на французский перешла...

— Тебя она часто ругает? — спросил Левин.

— Сквозь... Как только заметит, что человек — я, стало быть, — явился, так и пошла: гыр-гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр-гыр...

Левин остановился около столба и, прислонив к нему блокнот, написал записку...

Знаешь, где редакция "Транспортника"? Отдашь эту записку товарищу Левартовскому, редактору. Он позовет твою жену на работу, — я ему позвоню, в чем дело. Пока они так ее потерпят, — без французского, а потом заставят учить в обязательном порядке, как журналистку... Она в игрушки у тебя играет, нехай займется настоящей службой, а французский язык сначала на приманку пойдет, а потом уж все-ррез. Сперва пусть хоть воду в графины наливает.

Полуторный стоял в счастливом удивлении.

— Ну, Эммануил Семенович, ты целый центнер с меня снял...

— Какой центнер?

— А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит, — мещанка такая!.. Ну

теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит!

* * *

Время проходит, больше половины жизни прожито... Все лучшие, зрелые годы после окончания института Э.С. Левин прожил одиноким. Дружил он наиболее прочно и постоянно, в сущности, только с железнодорожным пролетариатом, — дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастье трудного труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела на небе. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам расшил ночной график, выбросил все поезда со станции, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдали; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан, на большом форсе, брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб долше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона. Он любил и воображал всех удаленных, откуда прибывают и куда уходят тяжкие поезда. Наслаждение же одним любимым существом

само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком...

Спать уже поздно было... Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшее от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, лучшее, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и, может быть, — хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней, как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б явился человек.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни. Он сидел в школе, рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид начался урок по закону Божьему. Священник спросил Володю; мальчик неловко встал за партой и нечаянно небрежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: "Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь... Надо вас рассадить". Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее было дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: "Хочу домой". Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

— Скорей, Эммануил Семенович, вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась... Транзитный на север задержали, — дежурный думает, может, понадобится что везти: кто ее знает...

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож. — Кто ж, как не он!

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которым не было терпенья от интереса. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— А я Каганович. Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?

— Нет, Лазарь Моисеевич, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку...

Левин стоял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Каганович понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь нового, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, Лазарь Моисеевич...

— Самое трудное, самое нужное... И говорил дальний, ясный голос; слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом странстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщал, как работает станция.

Нарком спросил, чем ему надо помочь.

Левин не знал вначале, что сказать.

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич. Я теперь передумаю сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный скулящий звук электромагнитного возбуждения, преодолевающего огромную шаровую выпуклость земли. Оба человека молча слушали его мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал Каганович. — Она еще долго будет идти...

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, Лазарь Моисеевич... Мы будем работать, зима пройдет.

Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.

— Не утешайте, Левин, самого себя, — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох... Пишите мне письма или вызывайте к аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

* * *

Один помощник Левина имел лицо заклятого врага турецкого султана. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начи-

нал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал вовремя. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое мероприятие, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное, домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя, как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь...

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — В Красном, бордовом Перегоне!..

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбужденного сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново...

— Слышал, — сказал Едвак. — Он нарком, а я нет.

— Ты нет, — произнес Левин. — Ты вчера два поезда задер-

жал на десять минут, два вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не придет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится...

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжелее дела, по слабым я слаб... Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали, — людям работать мешали!..

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах, и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впустую своего ума и сердца — это лишь общественный форс и искаженная маска талантливой и гордой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело по плечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие, будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспособлять свою душу ради приближения к другой, всегда замороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин, согнувшись, шел по путям в дальний парк прибытия. "Нельзя ли систему предварительной информации начи-

нать в месте формирования поездов?" — подумал он и улыбнулся. Как странно, он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение нормы простоя, коммерческая скорость, график...

— Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии, сидеть на завалинке и будут рассказывать, как слепые деды...

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересует лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. "Надо ее подучить и отправить работать на горку, — решил Левин. — Что ее держать, зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека? Безобразная вещь!"

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры... Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные паровозы пели на удаление. — Левин забывался, свет его покрасневших от бессоницы глаз угасал во внутренней тьме беспомыслия.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висела у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взялся рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, это я — Едвак. Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал, — Левин спит спозаранку: чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты же меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь, — сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, просто оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке достаточно велик, можно добавить нагрузку.

ЛЕГЕНДА

Марья Васильевна жила в избе на опушке густого лиственного леса. Муж ее был лесным сторожем, и они давно жили в этом лесу. Здесь же у них родился сын Митя, которому сейчас сравнялось четыре года.

Семейство лесника жило мирно и хорошо, но в последний год Марья Васильевна стала сильно хворать, и она часто подолгу смотрела жалостными глазами на своего маленького Митю, словно чувствуя, что она скоро умрет и не успеет взглянуться на своего сына.

Нынче Марья Васильевна вовсе занемогла. Однако, как и прежде, она поднялась с зарею, и весь день некогда было ей прилечь, потому что нужно было много работать по дому и по хозяйству. От болезни она стала худой, сгорбленной и маленькой, но она никому не жаловалась на свою болезнь и постоянно жила в работе и заботе.

К полудню Марья Васильевна немного отделалась и присела на лавку. Тихо было во дворе и в поле и в лесу. Шло теплое лето, росли деревья в лесу, и зрела рожь на нивах. Митя ушел с утра: он играл где-нибудь в поле или в лесу, разговаривая там с бабочками, жуками, с цветами и муравьями. Он вырос один, у него не было друзей, только с осени он пойдет учиться в деревню и тогда у него будут товарищи в школе. А те-

перь он жил лишь с отцом, с матерью и привык дружить со всеми маленькими людьми. Митя называл маленькими людьми всех, кто живет и водится в земле и летает над нею — червей, муравьев, мух, стрекоз, воробьев, бабочек, пауков, зеленую тлю и всяких мошек, всех, кто движется и дышит на свете.

Отец Мити уехал на два дня в город, в лесную контору, там у него было дело, и он хотел еще привезти доктора, чтобы доктор лечил мать Марью Васильевну от болезни.

Марья Васильевна открыла окошко, что выходило в ржаное поле, и послушала — не играет ли, не шумит ли где ее Митя. Но в поле было тихо, не слышно было ни одного голоса, лишь ветер шел один по миру и шевелил листья и колося, дремлющие в солнечном тепле.

Марья Васильевна прилегла на лавку: ей худо стало от болезни. В чистой избе никого не было, только один подсолнечник, росший за окном.

Марья Васильевна вскоре очнулась, но ей показалось, что уже вечер наступил на дворе и солнце заходит. Матери было томительно дышать, вся внутренность ее горела жаром, и от слабости она не могла подняться.

— Митя! — тихо позвала мать. — Митя, ты где? Дай мне кружку с водой!

Но сын ей не ответил. Его не было за окном, он играл где-то далеко с маленькими людьми, он заигрался с ними и забыл о своей матери.

— Митя! — шептала бессильная мать, лежавшая на лавке. — Митя! Поди корову с поляны приведи и сена ей на ночь положи. А я встану потом, мне полегчает, я подою ее тогда... Иди ко мне, посиди-поговори со мной, а то я одна лежу...

Матери показалось, что в ржаном поле раздался голос Мити, слабый и добрый, будто нечаянно воскликнул что-то безмолвный цветок. Когда Митя был меньше, то голос его походил на голос цветов, как если бы они заговорили; так представлялось тогда его матери и так почудилось ей теперь.

— Сынок, иди домой, просила мать. — Пора уж, вечер во дворе.

Мать прислушалась, но более не услышала сына.

"Пусть он бегаёт, пусть играет, раз ему там хорошо, — подумала мать. — Его дело детское... А мне пора подыматься!"

Ей некогда было болеть и нельзя умирать. Кто без нее сына и мужа обошьет и обстирает, кто за коровой ухаживать будет, кто обед в избе состряпает? Она вспомнила, что ей сейчас надо картошек сварить, надо рубашки зашить, надо свинье на ночь корму намесить, надо хворосту на завтрашний день принести, — все это надо было, а то как же! А завтра надо с утра рассаду в огороде поливать — на дворе сушь стоит, — потом просо надо полоть, потом ягодник обобрать, потом в колхоз надо сходить, там требуют помощи на уборке сена. У матери кругом была забота, вся жизнь шла от нее.

Голос Мити послышался во дворе.

— А тебе не пора ко двору? — позвала его мать.

— Пора, мама, — ответил сын и пришел в избу.

Мать взглянула на него обрадованными глазами. Каждый раз она видела его как внове, как в первый раз, потому что любила его. Всякий раз она быстро и внимательно оглядывала всего сына: целы и не повреждены ли его руки и ноги, глаза, нос и уши, потом она брала его руки и перебирала пальцы на них: все ли пальцы здоровы и находятся ли они на своих местах.

Митя стоял перед матерью и улыбался ей. За лето волосы его выгорели и стали белыми, как у старика, а босые ноги, лицо и руки теперь были темными от солнца, от ветра, от комариных укусов и болячек, и лишь одни серые чистые глаза остались прежними, доверчиво глядящими на мать, как никто на нее не глядел и глядеть не будет. Этот жалобный и внимательный взгляд ребенка означал его постоянный страх: он словно говорил: мама, живи всегда со мной, не умирай никогда. И мать понимала этот тайный разум сына, светящийся в его глазах.

Сейчас он был рад, что мать была дома и ожидала его. Играя во дворе, в поле или в лесу, Митя боялся, что вдруг мать умрет или сгорит их изба, и он хотел побежать домой, но жук или бабочка привлекали его, он разговаривал с ними и

забывал о матери и о доме, а потом опять вспоминал о них и снова забывал, потому что и мать ему была нужна, и земля вокруг него была светла и полна маленьких добрых людей, бормочущих и зовущих его к себе в траву, в заросли орешника, в лесное озеро и в воздух на небе.

— Мама, дай хлебца, там мышка в поле живет, у ней тоже дети есть, я их крошками накормлю...

— Обожди, Митя, не ходи больше никуда. Отца нету, а я болею, гляди вот — помру без тебя.

— А ты не надо! — просил Митя. — Я только чуть-чуть ходить буду и приду. А ты все равно не помрешь, ты уж сколько раз собиралась. Тебе ведь не больно сейчас, не больно?

— Нет, — говорила мать, — мне не больно. Ну, ступай походи, солнце еще не зашло. Выпей поди молока, дай я тебе сама налью, и хлеба возьми помягче. Дай я тебе сама отрежу его, я вчера новину пекла из просяной муки.

— С коркой! — просил Митя. -- У мышки зубы есть, она корку любит.

Поев хлеба с молоком, Митя взял с собой еще хлебную крошку, где была корка, и ушел из избы.

А мать от слабости прилегла на лавку и задремала. Она думала, что отдохнет немного и потом встанет, пойдет за коровой на лесную поляну и до ночи управится обрядить все дела по хозяйству.

Она дремала, но спать себе не велела, чтобы не заснуть надолго. Почувствовав, что она слабеет, что долгий сон одолевает ее, Марья Васильевна хотела подняться с лавки к своим делам и заботам, но дыхание оставило ее, она протянула руки за помощью, опустилась на пол и умерла.

Митя скоро вернулся. Он пригнал корову с поляны и сказал матери в окно:

— Мама, иди Зорьку встречай, у нее вымя опять полное, она клевер ела.

Он влез в окно и увидел, что мать спит одна на полу.

— Мама! Чего ты спишь? Ночи нету, а ты спишь — ты вставай, мама! Я больше ни с кем не буду играть, я наигрался, я с тобой теперь буду...

На дворе замычала Зорька.

— Вставай, мама, тебя Зорька зовет.

Мать молчала без дыхания, и ее вытянутые большие руки без силы лежали на полу.

— Ты умерла теперь! — увидел Митя и сказал: — Я тоже помру с тобой.

Он прилег к ней, обхватил одну ее холодную руку и приник к ней лицом.

В сумерки приехал отец и привез с собой доктора к матери. Отец осмотрелся, стал перед матерью на колени и поцеловал ее в лоб; потом он поднял сына и приютил его у себя на груди, чтобы он утешился и уснул.

Мать похоронили под старым дубом на опушке леса, и Митя стал жить без матери.

Днем отец редко бывал дома; он уезжал в лес на службу и приезжал к вечеру, а Митя жил один. Чужая старуха приходила каждый день из деревни и справляла работу в хозяйстве, но ее забота была плохая, потому что семейство ей было неродное и отец платил ей за работу деньгами и хлебом.

Митя не знал, как ему жить без матери. Он с утра уходил к лесному дубу, где мать положили в землю, и был там один весь долгий день среди травы и маленьких людей.

Он подружился было с муравьем и рассказал ему, что у него умерла мать.

— Ну что ж, — сказал муравей, — она умерла, а ты живи.

— Без матери нельзя, — сказал Митя муравью.

— Можно, — ответил муравей. — Если бы ты не родился еще, тогда мать тебе нужна. А раз ты родился, мать тебе не нужна.

Митя не понял муравья.

— Ты маленький человек, — сказал он муравью, — ты в землю умеешь ходить по норкам. Ты сходи к моей матери и проведай ее, а потом мне расскажешь про нее.

— Нам глубоко ходить некогда, — сказал муравей. — У нас, ты видишь, какая муравьиная куча! Нам делов много, нам некогда.

А что ты будешь делать?

— Я тлю пойду доить, а потом груз буду в муравейник таскать — солому и лес — нам строиться надо. Нам о тебе думать некогда.

Озабоченный муравей уполз по своим делам, а Митя подошел к белой бабочке: бабочка сидела на синем цветке, трепетала крыльями и вся дрожала, словно ей страшно было жить.

Митя спросил у бабочки: чего она боится?

— Я не боюсь, — сказала бабочка, — это я радуюсь теплоте свету, я сейчас полечу.

— Ты полетишь далеко или близко?

— До вечера, а вечером я умру, вечером я старая буду.

— Мама моя тоже умерла, — сказал Митя. — Когда ты умрешь, ты увидишь ее?

— Не знаю, я не умирала, — сказала бабочка.

Митя грустно глядел на бабочку, и в глазах его были две слезы.

— Я увижу ее, — сказала бабочка. — Я скажу ей: пусть она опять живет.

— А утром ты прилети ко мне, я тут буду, и ты опять живи до вечера.

— Нет, я червяку расскажу, как была у твоей матери, а червяк приползет и тебе скажет. А сама я больше не прилечу сюда, мне жить два раза нельзя, завтра другим бабочкам надо жить, утром — другие бабочки будут летать. А я рада, что живу до вечера и вечером умру.

Добрая бабочка встrepенула крыльями, и тихий ветер понес ее вдаль над травами и цветами.

Митя глядел ей вслед, как она улетала от него. И он увидел, как из травы поднялась птица и склевала бабочку на лету. Мальчик тогда лег лицом в землю и заплакал, что добрая бабочка не дожидала своей жизни до вечера.

Большой земляной червь подполз к лицу Мити и спросил его:

— Чего ты плачешь? Живи, не плачь!

— Я не плачу, — ответил Митя, — ты слепой, ты ничего не видишь.

— Я не вижу, а чувствую, — произнес червь. — Слеза твоя капнула, а я с землей ее сжевал и узнал, что в земле была слеза.

Митя сказал червю всю правду и отчего он плачет. Червь не шевелился и слушал его...

— У матери последнее дыхание вышло, и она умерла, — говорил Митя. — Я хочу ей от себя дыхание отдать, чтоб она жила, а она в земле глубоко лежит...

Червь молчал и думал.

— Я тоже дышу, — тихо произнес червь, — дыхание для твоей матери я могу от себя отдать.

— А ты отдай! — просил Митя. — Ты пройди к моей маме сквозь землю и отдай ей свое дыхание, пусть она вздохнет и будет жить. А если ты умрешь, тебя мама ко мне принесет, и я тебе отдам тогда свое дыхание, и ты опять станешь живой.

Червь задумался.

— Да я что, я червь, — сказал он, — я могу и без жизни обойтись, это вот тебе нужно обязательно быть на свете.

— А зачем же ты тогда ешь? — спросил Митя.

— А затем, что муравьи мне велят почву пахать и рыхлить. Они тут новый муравейник строить будут. А я у них пахарем-крестьянином работаю, затем и живу. Некогда мне в землю глубоко ходить.

— Муравей мне тоже говорил — ему некогда, — сказал Митя. — Одна бабочка была добрая.

— Не обижайся на меня, — произнес червь. — Я обдумал. Ты разорви меня пополам.

— Не хочю. Тебе больно будет.

— Разорви меня, нас тогда двое будет. Один останется землю муравьям пахать, а другой к матери твоей пойдет. Рви меня пополам, мне не больно, я привык.

Митя взял червя в руки и разорвал его; тогда их стало двое; полчервя уползло работать землю для муравьев, а полчервя осталось. Этот пол червя попрощался с Митей и пополз в глубину земли, к матери осиротевшего мальчика. Митя теперь не знал, какой же из двоих полчервей был тот, который говорил с ним.

На другое утро Митя пришел снова на это место и нашел Полчервя. Это был тот, что остался пахать, а того, что ушел в глубокую землю, того не было. Полчервя заглатывал и пере-

жевывал землю, так он мягчил и пахал ее. Он то показывался наружу, то уходил в темноту почвы, но все время ползал вперед и назад и трудился.

Полчервя-пахарь почувствовал, что Митя пришел и дышит возле него.

— А того нету? — спросил Митя.

— Того нету, — ответил Полчервя. — Может, сглодал его кто в земле, может, он сам уморился и помер — дорога ему дальняя.

— А он добрый?

— Не знаю, — сказал Полчервя, — он, как я.

Митя загоревал; он думал, что ему теперь делать и кого нужно послать на помощь матери.

Тогда Полчервя сказал ему:

— Разорви меня еще пополам — пусть нас будет две четверти: одна Четверть пахать останется, а другая Четверть понесет дыхание жизни твоей матери.

Митя обрадовался и сразу разорвал Полчервя еще пополам. Одна Четвертьчервя поползла в глубь земли, а другая Четвертьчервя осталась пахать землю муравьям.

Митя ушел к корове Зорьке на лесную поляну; он пас ее до самого вечера и перегонял, когда нужно, с одного места на другое, чтобы она ела траву, которая слаще и питательней, а не глодала сухие былинки. Он часто подходил к Зорьке, гладил и ласкал ее так же, как ласкала ее прежде мать, и ему было хорошо, словно он чувствовал на шерсти Зорьки живые теплые следы рук своей умершей матери. Зорька, обернувшись, смотрела на него одним большим печальным глазом, как будто хотела сказать что-то или спросить.

Вернувшись вечером домой, Митя лег спать, чтобы скорей прошла ночь, а утром пошел к Четвертьчервя. Один Четвертьчервя пахал муравьиною землей, а другой Четвертьчервя не вернулся обратно.

Теперь Четвертьчервя стал совсем короткий, ему трудно было пахать землю и у него выходило мало работы. За это два муравья ругали Четвертьчервя и обещали сглодать его живьем, если он не сможет работать больше. Четвертьчервя

старался трудиться лучше и больше, но силы в нем теперь мало было, и тело стало короткое.

Когда муравьи ушли, Митя прилег к труженику-червя и подышал на него, чтобы Четвертьчервя узнал его. Четвертьчервя остановился ползти и попросил Митю, чтобы он отер листиком травы пот с его спины. Митя отер Четвертьчервя; пахарь отдохнул и сказал Мите, что нужно делать.

— Разорви меня еще пополам, мы и по одной осьмушке проживем.

Митя сделал, как велел Четвертьчервя; теперь их стало две осьмушки, два маленьких червя, но оба были живые и добрые. Одна Осьмушка пошла в землю к матери Мити, а другая Осьмушка осталась пахать землю. Трудно было маленькой Осьмушке работать, и еще она боялась муравьев, но она была терпелива и усердна в земляной работе, а Митя находился около Осьмушки и время от времени отирал с нее пот травяным листом.

В полдень Митя пошел навестить Зорьку на лесной поляне.

Погладив Зорьку, он повел ее к лесной речке на водопой и там уснул в прохладной тени ивы, росшей на берегу.

Под вечер Митя проснулся; он вспомнил про Осьмушку и побежал проведать ее, как она там, маленькая и слабая, работает одна и не сглодали ли ее муравьи за то, что она мало вспахала земли.

Митя увидел Осьмушку. Она лежала около зеленой былинки, не работала и не двигалась. Митя взял Осьмушку в руку, позвал ее, заговорил с нею, подышал на нее и потрогал ее губами. Осьмушка молчала, она была холодная и уже затвердела; там, где Митя оторвал ее утром от Четвертьчервя, вышла капелька крови, и кровь теперь засохла; Осьмушка умерла. Она истомилась в работе, она не могла жить в маленьком ослабевшем остатке своего тела, и Осьмушка умерла.

Митя унес Осьмушку в хлебное поле, чтобы ее не нашли лесные муравьи, и там закопал ее.

Теперь он стоял один над землей, где лежала мертвая Осьмушка. Ему жалко было ее, и он не знал, есть еще кто-нибудь, кто был бы такой же добрый, как Осьмушка.



В "Пражскую весну" 1968 года ко мне на дачу во Внуково приехала редактор (подвижница русской литературы) одного из московских издательств и отобрала из моих повествований в первом лице единственного числа "книгу рассказов", которая должна была выйти под названием "Стаканчики граненые"... По окончании "Пражской весны", книга была заморожена до будущих "весен".

На Западе эти рассказы печатались в журналах "Время и мы" и в "Континент", а недавно вышли на английском языке отдельной книгой "Проза из несостоявшейся книги 1968 года".

Однако, по счастливой для нас случайности, два рассказа не были до сих пор напечатаны и не вошли в книгу. Предлагаем их вниманию читателей.

Лев Наврозов

Лев НАВРОЗОВ

СТО СОТЫХ

Мы были отличниками, с такими хорошенькими портфельчиками, а еще были хулиганы, они остались давным-давно на второй год, потом на третий, а может быть, даже и на четвертый, потому что было такое указание, чтоб все сто процентов, и они выросли так, что нам казались великанами, и когда великан Михайлов грустно ударял по исполинским ягодицам Полеву, то рука Михайлова представлялась нам медвежьей лапой, и от дрожания ягодиц Полевой все, казалось, дрожит, как от волн, и была в действиях хулиганов безысходная грусть путешественников, попавших в страну малюток, они грустно курили, выпивали, ели исполинские булки целиком, не крендельки, а целые булки, неразрезанные, без масла, прямо так, живьем. Михайлов, не тот, что Медведь, и не брат его, а просто другой Михайлов, доводил политзачес до красоты швабры из совершенно одинаковых проволок, выходящих из лба, а Кутузова, сотрясая цветастыми серьгами, обсуждала новости половой жизни района с томным Пчельниковым.

И вдруг однажды Кутузова услышала краем уха как малолеткам объясняли: земля шар, и она вертится. Ее возмутила не отвлеченная вздорность этого вымысла, а то, что она непосредственно затрагивала ее, Кутузову. Малолетки могут сюсюкать с какими угодно там тру-лю-лю мадам фря в очках о том, что ути, ути, какая малюсенькая, но нести вздор в ее присутствии о том, что земля, на которой Кутузова танцует румбу, — шар, и ноги у нее, значит, что же разъезжаются? И шар этот, мол, вертится, будто она пьяная, да пьяная, это не дело для малолеток, так можно их подучить говорить, что и ноги у нее кривые.

Совсем всякие там тру-лю-лю мадам фря в очках развоображались, будто они могут знать, что и Кутузова не знает. На миг она забыла про достоинство, уместное по отношению к забавам малолеток, и закричала с визгливым презрением, дескать, чему малолеток подучают?

Тру-лю-лю фря в очках, которую на самом деле звали Надеждой Павловной Введенской, сначала побледнела, потом залилась цвета мокрого кирпича краской, красиво сняла пенсне и надела его опять.

Надежда Павловна преподавала, наверное, с начала века, и у нее было такое лицо, и пенсне, и потом само имя: Надежда Павловна Введенская, что сразу вспоминалось: сейте разумное, доброе, вечное. Но теперь, казалось, ей в лицо вдруг плеснули водой, мысленно она собирала доводы в пользу шарообразности и вращения Земли, но поскольку уже давно многие заранее соглашались с этими доводами и выслушивают их больше для приличия, то эти доводы были застигнуты врасплох. Кутузова отвернулась с презрительным сожалением, считая, что вопрос исчерпан, но в это мгновение лицо Михайлова, не с политзачесом, а Медведя, обычно сонное, словно он в спячке, вдруг болезненно ожило, разом превратившись в разбереженную рану самолюбия, может быть, оттого, что Кутузова так уронила свое, а заодно и его, достоинство, вмешавшись в младенческую забаву, а может быть, какое-то непонятное волнение вокруг растревожило его, и все ожидали, что он встанет из-за своей парты, он выглядел,

как медведь за партой на картинке в книге для детей дошкольного возраста, и заревет, но он только привстал, загромыхав, мигнул глазами, ощерился и свистнул свистом без пальцев. Свист вышел для этого исполненного достоинства рода свиста очень удачный, но уже на миг раньше, когда он только еще ощеривался для свиста, разбереженная рана его лица затянулась, оно даже выразило некоторое если не удовольствие, то умственное ощущение замысловатости жизни, или проще сказать, смышленность, какая у него появлялась при виде ягодиц Полевой, а затем погрузилось опять в угрюмую спячку.

— Так, — звенела в таких случаях Надежда Павловна расстроенным аккордом, напоминая рояль на уроках пения, по которому много лет били кулаками.

Затем она распахивала дверь, чтобы происходящее стало достоянием всеобщей гласности, то есть неясной гулкости пустых пространств коридоров. Мы знали заранее все, что произойдет, но каждый раз Надежда Павловна как бы заново оглашала действия хулиганов.

— У меня, — расстроено звенела она, с расчетом на гулкие пространства, — у меня, — повторяла она чуть тише, но зато тверже, — у меня, — брала она октавой выше, — срыва-ют, — и голос у нее тут тоже срывался, — у-у-рок.

Мы все понимали, хотя процентов еще и не проходили, что сто процентов — это сто сотых, а если Михайлова выгонят, то это не будет сто сотых, и потому Михайлова нельзя выгнать. Не только Михайлова, но даже Косого со второго этажа никак не могут выгнать, потому что сто сотых — это сто сотых.

Мы все отличники, с хорошенькими такими портфельчиками, были тайно на ее стороне, потому что она порядок, а они хулиганы. У меня была фотография, где мы все сняты, а сзади белая изразцовая печка, топили дровами, о нее можно греться, а выше выюшка, а на стене на уровне выюшки портрет, ну, известно, чей, кого же еще, и какое это имеет значение? Этот портрет — как выюшка, а эта выюшка — как белые изразцы, как сейте разумное, доброе, вечное, как порядок. И позвольте все сто сотых должны знать, что земля

шар, и она вертится, разве это не разумное, доброе, вечное, не дать ни одному хулигану закоснеть в невежестве?

— У меня срывают урок, — повторяет Надежда Павловна, но теперь уже рассудительным до певучести голосом.

— У меня срывают урок, — певуче рассуждает вслух Надежда Павловна, словно сама она не рада тем последствиям, которые от этой певучести произойдут.

Не всегда все точно повторяется. Иногда Надежда Павловна на миг исчезает в гулких пространствах коридора, чтобы лично, так сказать, огласить.

— Ах, у меня вода, принесите обморок, — произносит в таких случаях Кутузова, изображая тру-лю-лю мадам фря, которая устраивает не пойми что из-за того, что Медведь свистнул, подумаешь, барыня на вате, и одновременно изображая себя в представлении барыни на вате, которая думает Кутузова ее испугалась и упадет в обморок. Поскольку остроумие тут очень уж тонкое, основанное на перестановке слов "вода" и "обморок", то ей с Полевой приходится несколько раз повторить эту остроту на разные лады, чтобы соль ее ни в коем случае не пропала бы для мужского общества, и Полева произносит шепеляво, несколько тихо и без всякой художественности, но зато Кутузова закатывает глаза, говоря, что у нее вода, и как бы падает в воду, прося принести обморок.

Иногда Надежда Павловна предварительно заявляет о цели своего выхода в коридор: она идет поставить в известность, и тут Медведь угрюмо хрипит:

— Иди ставь.

Так обнаруживается, что он с ней на ты.

Повторяется все, что и в предыдущем случае, но только вместо слов: мне срывают урок, участвуют слова: меня оскорбляют на уроке, и тут мне становится ее еще больше жаль, да и совестно, что я присутствую при оскорблении ее на уроке, и я сжимаюсь внутри до самого маленького размера себя, закрываю глаза и начинаю про себя гудеть от возмущения и думаю, что если бы все так про себя загудели, то получился бы сильный гул возмущения. А однажды мама дала мне три рубля, и я положил их в парту, а потом как бы вдруг

нашел в парте неизвестные три рубля, встал и сказал: Надежда Павловна, я нашел три рубля. Я желал приобщить ее и себя к порядку, достигающему степени подвига.

Хулиганы впервые разглядывали меня как крохотную, но все же отдельную личность, а не просто неопознаваемую икринку паюсного малолетства. Они стали думать, что я мог бы сделать на три рубля, если я не курю, не пью, и вообще лишен человеческих желаний.

— Он бы пончиков купил, — сказал Пчельников томным голосом, намекая Кутузовой и Полевой, что под пончиками тут имеется в виду также и нечто, имеющее отношение к половой жизни, хотя он еще не решил, какое именно.

Потом их взяла досада, что я не отдал три рубля им, но ругать меня казалось им так же нелепо, как мне бы ругать новорожденного. После занятий они окружили меня за партией хмурой толпой исполинов и, конечно, это внимание было все равно как если бы знаменитые на весь мир преступники вдруг собрались бы вокруг спасшего поезд сторожа на безвестном полустанке. Хмуро они обменивались замечаниями о детскости моего поступка.

— Дурак, — сказал Михайлов с политзачесом. — Я видел, как она на эти три рубля себе пончиков купила.

Было неясно, видел ли он это, и было неясно, зачем вдруг Надежде Павловне понадобилось столько пончиков сразу, и почему именно те три рубля видел у нее Михайлов, но он, наверно, решил, что так должно быть, исходя из природы вещей. Нижняя часть лица у него напоминала Вольтера или Шопенгауэра в том смысле, что если бы он дожил до возраста, когда эти лица запечатлены в известных изображениях, он, наверно, стал бы этой частью лица очень на них похож, но пока что эта нижняя часть лица придавала ему неуверенность, когда он старался рассеять мой детский предрассудок и показать мне подлинные пружины жизни, хотя проволока политзачеса и торчала надменно у него изо лба.

Но все это лишь присказка, а цель ее показать, насколько были безобидные наши хулиганы. Однако за ними, где-то на втором этаже, маячил Косой, видение детского кошмара,

чудище, я даже не знаю, косили ли у него глаза, потому что нельзя рассмотреть чудище, и только очевидно было, что голова у него не просто с пивной котел, как казалось нам в силу разницы возрастов, но еще и как бы двухэтажная, и на втором этаже, как пыльные окна, совершенно тусклые, словно невидящие, глаза. Но, конечно, многое тут мерещилось от страха. Я встретился с ним один раз, он был на площадке второго этажа, и похоже было, что он как оборотень примеривается, чтобы схватиться руками за перила и съехать на руках, как опрокинутое кверху ногами огородное пугало.

Косой схватился руками за перила и подпрыгнул, как бы для того, чтобы съехать на руках, а на самом деле для того, чтобы плюнуть в меня, выбросив пивной котел головы вперед через перила для придания плевку скорости.

Плевок попал в шею, он был как печать дьявола или язва, я стоял, скорчив шею, словно укушенный ядовитой змеей и стремящийся предотвратить распространение смертельного яда по шейным венам с помощью страшного напряжения шейных мышц.

А был год тысяча девятьсот тридцать седьмой. И можно было ожидать, что проходящие мимо сеятели и сеятельницы разумного, доброго, вечного скажут, подумаешь, плюнули в него. Ведь это мне так казалось, что печать или язва или смертельный укус, а почему бы им не сказать брезгливо, дескать, есть у тебя платок, или, там, иди в уборную, ведь и на первом и на втором этаже была уборная и рукомойник, чего же проще? Так нет же, она, не помню ее лица или одежды, ничего не помню, ужаснулась — ну, может быть, не в такой степени, как я, но достаточно, чтобы я поверил, что и она охвачена ужасом, и весь мир охвачен ужасом, и порядок встал на место, разумное, доброе, вечное, и она меня взяла за руку и повела в учительскую, где был кран, и главное было идти, не расслабляя шейных мышц, и не запомнил я ее потому, что несчастье мое казалось мне столь чудовищным, что тут все человечество, все разумное, доброе, вечное должно было спасти меня. Разумное, доброе, вечное, у него нет лица, оно так прекрасно, что его нет, оно просто как шелест слова "челове-

чество", оно неясно, безлично, почти неслышно, как смех или речь в таком далеке, что о них можно лишь догадаться, и на каком это все языке и сказать нельзя.

А второй раз я встретил Косого лет через тридцать.

На мне была шуба с котиковым воротником полушалью, недавно купленная в комиссионном магазине потому, что в старой шубе меня могли встретить значительные лица и вышла бы неловкость.

Время было второй час ночи, а парадное во втором часу ночи — это царство мертвых, этот лифт, стержень моей жизни, потому что всю жизнь я прожил вокруг этого лифта и знаю сетку, грязь, краску, клепки, он как гробница во втором часу ночи, и тишина такая, что кажется лампочка наверху горит с шипением, а времени нет.

Справа у гробницы лифта стоял он.

Привидение было куда хуже, чем образ детского страха. Каким кокаином можно довести свое лицо до такой мертвецкой белизны, до таких невидящих глаз? В каких тюрьмах, в каких ямах провел он эти тридцать лет?

Но я знал, что он — это он, подобно тому как во сне знаешь, что он — это он, хотя облик может быть безвиден.

Потом я сообразил, что у нас дом проходной и можно войти в парадное, затем вокруг лифта, в дверь внизу и проходным двором, и он наверно шел ночью навестить свой прежний дом поблизости, днем его бы задержали и выслали из Москвы, а не видел я его эти тридцать лет, потому что может быть, он и в Москву сумел вернуться в первый раз. Но это все я потом сообразил, а тогда я мог думать, что он выследил меня.

Разве я не был и эти тридцать лет на стороне порядка? В его глазах, да. Правда, очень скоро я понял, что в отношении шарообразности и вращения земли танцовавшая румбу Кутузова была так же права, как и сеятели разумного, доброго, вечного. Еще подростком я прочел, что все шар и ничто не шар, все зависит от радиуса кривизны, а если у вселенной есть радиус, то можно сказать, что земля неподвижна, а вселенная вращается вокруг нее, и если б Кутузова стала потом не районной проституткой, а писала бы диссертацию о кри-

визне пространства, то она бы кричала об этом, возможно, так же визгливо, как она кричала, что земля — не шар.

И я также узнал, что до того как наши хулиганы сры-ы-ывали урок, а Косой поразил меня смертельным ядом своей слюны, всех несоответствующих порядку столицы выселили, а лиц двенадцати лет и старше квалифицировали как совершеннолетних, применяя к ним все меры наказаний, вплоть до высшей. И было это запечатлено не в секретных шифровках, а во всеми читаемых газетах. Все прочли и как бы не поняли или как бы не осознали или как бы забыли. Никто мне никогда об этом не рассказал, пока я сам не проник обратным числом в историю и сам не открыл. Земля-то, а все-таки она вертится и не вертится. Шар она, и не шар. Уж какой казался порядок, сто сотых, но только хулиганы-то наши или сам Косой были, так сказать, лишь остатки. Указание было всех несоответствующих порядку с глаз долой, а уж тех, кто останется, вот те, чтоб и были сто сотых. Так что и сто сотых оказались не сто сотых.

Но для Косого, что ж все это значило? На мне была шуба с котиковым воротником полушалью, значит, далеко я пошел, высоко залетел. Вот, мог бы сказать мне Косой, ты был отличником, с хорошеньким таким портфельчиком, и верил, что земля — шар, и она вертится, и никогда не спрашивал, а правда ли, что сто сотых это сто сотых, и даже свои же три рубля отдал на приобщение к порядку, доходящему до степени подвига, и вот ты в какой шубе. А вот что порядок сделал со мной, видишь? Я — выползший во втором часу ночи труп, я — призрак страшнее детского твоего кошмара, я — нетопырь оттуда, где за твою шубу с котиковым воротником полушалью, знаешь? Помнишь плевков мой? Так оно и есть: смертельный это был укус, и вот яд сейчас тебя и убьет. Я — сто сотых, я — возмездие, я — смерть, мы ведь в царстве мертвых, где времени нет, а всегда второй час ночи.

Когда он заговорил, понять ничего было нельзя. Он потянулся, как во сне к моей руке, и я не отшатнулся, но, видимо, побелел как полотно, потому что он сказал то, что я тогда не понял:

— Ч-ооо-ты-я-е-хотя-токо-рук-тя-по-се-лать.

Но потом я разобрал, как разбирают малознакомый язык:

Что ты, я же хотел только руку у тебя поцеловать.

И он, видимо, еще хотел сказать: ведь я же люблю тебя.

Это я понял. Но он оговорился, или, может быть, в его сознании уже не различались слова тебя и себя, и вместо тебя он сказал себя:

— Ведь я же люблю себя.

СЛАДКИЕ ДНИ

Петя смотрелся в наше зеркало. Из Петиных слов выходило, что я урод. Он, правда, сказал не урод, а уroda, вроде, значит, смешно: уroda. Даже лицо такое в зеркале вытянул.

— То есть, как это? — сказал я, притворяясь, что не чувствую, как жизнь вытекает из меня, хотя я даже подумал: словно кровь из смертельной раны.

Я теперь понимаю, что Петя так сказал потому, что он сам был мною смертельно ранен.

Нашей мечтой было содеять немыслимое преступление, и хотя мы знали, что подобные преступления совершаются, но ведь и сейфы где-то кем-то все время взламываются, притом сейф взломать можно с помощью автогена, или даже, я читал, нитроглицерин залили в щель и рванули, а тут объект преступления — живое существо, которое в преступлении соучаствует. Сейф — он сам же и преступник, вернее преступница. Нельзя просто сейф взломать. Надо с сейфом войти в тайный преступный сговор, причем без малейшего намека, какой там намек, надо, наоборот, такое выдумать, что как будто и в мыслях нет ничего такого, а все мысли наоборот. От соучастника, вернее, соучастницы, и надо все скрывать, как будто она в то же время и следователь по делу, а также этого самого сейфа и владелица.

Я Пете и рассказал, что подготовка к немыслимому преступлению у меня идет успешно, на мази дело, и даже я руки потираю, и теперь-то я знаю, что Пете я тем самым нанес

смертельную рану, жизнь из него самого вытекала, и поэтому он и сказал, что я — уroda, но я-то думал лишь о себе, о том, что жизнь из меня вытекает.

Для того чтобы содеять немыслимое преступление, нельзя к тому же еще и быть уродом, и тут Петя смертельную рану мне и нанес.

— То есть, как это? — говорю я, понимая, что все пропало, и только время оттягивая.

— Но ты ведь не очень красивый, правда? — говорит Петя, взывая к чувству справедливости и давая понять, что уroda можно назвать, из дружеского участия, просто не очень красивым, но суть дела от этого не изменится.

Да, Петя, наверно, красивый. Нос прямой такой. Греческий. А ведь у Пети мать тоже еврейка, и только отец русский. Как и у меня. Но никто не скажет. Ну, скажут, не русский, так грек.

Хотя не знаю, хотел бы я такой нос, если б можно было меняться. Немного он у него как бы это сказать — мозолистый, что ли.

Но Петя прав: я урод, и не только внешне, а внутренне тоже.

Зачем я затеял это немыслимое преступление, к тому же еще и неосуществимое? Если бы я не был уродом, а был бы красавец, как дядя Валентин, то я бы его и не затеял. Папа говорил про дядю Валентина: "прямо из "Белой гвардии", так назывались раньше "Дни Турбиных". Дядя Валентин когда пил, то все больше бледнел и становился все красивей, как бы сгорал в спирту, возгонялся, ведь спирт значит дух по-латыни, и в конце концов лицо его как бы из одного духа состояло, из одной красоты.

Я был бы красавец, и все было бы красотой, и как дядя Валентин читал бы стихи: испугом схвачена, влекома в водоворот, или: чтоб на ложе долгой ночи не хватило страстных сил, а ложе мрамор, пожелтевший, каррарский, даже римские буквы, хотя это гробница, кажется, Медичи.

А можно все и перевернуть. Мраморное ложе, гробница Медичи, красота — это все в прошлом. А теперь и в дяде Вален-

тине была вся красота только когда он пил. Оттого и я не как дядя Валентин, а урод.

И уродство я затеял. Уроду уродство. Преступнику преступление, но только уроду его и в жизнь не содеять, потому что тут хотя бы Петин греческий нос нужен.

Для немыслимого преступления, видите ли, еще и красота требуется. А почему? В школе мы проходили, что красота нужна цветам, чтобы пчелы замечали их яркую расцветку в траве, борьба за существование, выживание наиболее приспособленных. А тут что? Разве красивый или красивая наиболее приспособлены? Дядя Валентин, красавец? Да он сгинул, папа говорил его гувернеры пяти языкам учили, и все напрасно, он в красоте-спирту возогнался, как дух, источился, сгинул.

А вот, поди ж ты, красота тут нужна. И никто не знает почему, а как будто в ней тут все дело, и сколько тайного горя, оттого что ее нет, помешательство на ней, болезнь, наваждение.

Объект преступления не так легко было выбрать. Соседка в квартире у Пети, это не под нами, а в семнадцатой, еще этажом ниже, никак, я решил, не подходит. Начать с того, что ей лет тридцать, а может, и больше, и хотя ручки, ушки и носик у нее маленькие, особенно носик, чудесный маленький носик, такой красивый, что я решил, что он непременно польский, плечи у нее, груди, бедра, живот необъятны по сравнению со мной, и потом она замужем за офицером, впрочем, не намного крупнее, чем я, и у нее еще дочка семи лет Наташа.

Мне нравится, что она такая тонкая запястьями и носиком польским, а в остальном такая необъятная, я даже хорошо представляю ее живот, у нас напротив на доме верхний край крыши как бы поддерживают сказочные существа, лица у них зверюшек, а животы чудесные, и пупки растянуты в стороны, как будто в такой улыбке, что уж дальше улыбаться никак невозможно.

Семнадцатая — это другой мир. У них пол в коридоре кафельный. Входишь: пол кафельный. Дико. Вот, думаешь, пол у них кафельный, а они живут. Скользишь по кафелю:

Петя дома? А справа мне отвечает голос будто в двух регистрах, как восточное пение, и на верхнем регистре свирель, и будто струей молока брызнули и даже захлебываешься. Петя мне хвалился, что она по квартире в одной батистовой рубашке ходит. Все видно, говорит Петя. Но я ничего. Как голая, сказал он немного обиженно, и описал в доказательство подробно, а мне наплевать, у нее голос в верхнем регистре грудной, а в нижнем утробный, а что он снаружи увидел, подумай. И откуда у нее голос такой берется? Впрочем, голос ведь это нутро, это ведь как резонатор музыкального инструмента, слыша его, мы обладаем душой изнутри, как может быть в раю.

А Петя слева живет. Надо по кафелю скользить — скользить (все чужое!) в закоулок слева, и потом дверь будет с таким стеклом в рубчик, и стол у них всегда накрыт клеенкой, а на клеенке всегда крошки. Б-р-р! Холодно у них. А главное другой запах. Меня только ее голос ободряет. Как путника на чужбине. "Лева, да что же вы стоите? Петя дома!" — льет она на меня свою свирельную благодать среди дикого этого кафеля. У Пети нос греческий, и как он шутит про себя: "Ну уж, девки, если я вам не парень, то вы заелись!", но если посмотреть на Петю в этой его дикой семнадцатой, то все становится и в Пете дико. Петя играет на скрипке и украл у нас три рубля. Мама у него страшная. Глаза у нее в темных кругах, придет она с работы, сядет за стол с клеенкой и крошками, и сидит, смотрит в одну точку, а голова чуть-чуть набок. Потом встрепенется и крикнет немного гнусаво: "Петя, играл сегодня на скрипке?" Хотя Петин папа русский, он тоже страшный. Он себе отдельно все готовит, потому что поссорился с ними, но из супа у них всю гущу вылавливает и съедает.

"Лева, да что же вы стоите? Петя дома!" Она говорит или смеется? Журчит у нее смех внутри, хлещет, как молоко из перевернутой бутылки, и бутылка бьется толчками.

А Петя еще раньше рассказал мне, как она прожурчала грудным своим смехом-молоком: "Петя, а что же Лева к вам не приходит, милый какой мальчик?" Не только не урод, а

еще и милый. Это ей так привиделось. Но не все ли равно? Для махрового-то преступника?

А вот тут-то и заковыка. Мои замыслы немислимого преступления обязательно связывались с катанием на лодке, потому что объект преступления ведь надо завлечь в отдаленную безлюдную местность, а дальше катания на лодке у меня воображение не шло, таков был в моих замыслах повторяющийся рисунок преступления, как сказал бы криминалист.

Но как я могу пригласить ее кататься на лодке? А тонкошей муж и дочка семи лет Наташа?

Если бы можно было пригласить ее голос. Красавцем, дядей Валентином, я бы его ловко подхватил и усадил в лодку, а он бы сладко и туго бил, как молоко из перевернутой бутылки, растекался бы свирелью, тыкал бы пальчиком смежа опущенным за борт, и мы бы плыли по озеру свирельного молока, мы бы тонули в свирельной благодати, ты, царевич, мой спаситель.

Но голос я не могу пригласить, я должен ее пригласить как личность, вместе с батистовой рубашкой, вместе с настоящими женскими ногами, женскими чулками, которые, как воздушные сооружения, совсем прозрачные и с разными сложными приспособлениями, с помощью которых эти сооружения держатся, вместе с мужем ее офицером и дочкой семи лет Наташей.

Объект немислимого преступления неподходящий, и вдруг само все устроилось, свилось из ничего, и без Пети, а просто так, из ничего, все всегда происходит из ничего, стоим мы, то есть такой худой, длинный, и все время обиженный как бы на то, что он так вымахал в ботву, потом Лариса, нелепое имя, из "Бесприданницы", они что ли, дружат, чуть ли не уроки вместе учат, хотя мне-то какое дело, а вот у этой бесприданницы Ларисы подружка, и я говорю им: а давайте поедем кататься на лодке. Каково, а? Я эту подружку и в глаза никогда раньше не видел, а приглашаю их кататься на лодке просто потому, что Петину соседку оказалось катать на лодке невозможно в силу ряда житейских обстоятельств.

Это я Пете и рассказал, не замечая, как Петю это смертель-

но ранило, а Петя, мол, что я уroda, и ничего поэтому не выйдет, но, конечно, я поехал потому, что урод, не урод, а ехать-то она согласилась, и, может быть, я урод, а ей кажется нет, ведь вот Петина соседка говорит: а что же Лева к вам не приходит, милый какой мальчик?

Я назову объект моего преступления его настоящим именем, и тут ясно, что я не писатель, не могу придумать воображаемое имя, даже если всю жизнь буду только этим и заниматься. Не могу и не могу, все рассыпается, писать противно, да и смешно.

И еще опасность. Я пишу это, прихлебывая чай с лимоном, и тут я могу придать всему этому писательскую сладость, и как мужчине за сорок или за пятьдесят не описать девушку-подростка с этакой старческой сладостью, к которой примешивается и сладость отцовства, особенно оттого, что у меня нет дочери, а сладость чая с лимоном?

А на самом деле я просто **н а м е т и л** Тосю с преступной деловитостью, и то, что ее звали Тося не имело для меня никакого значения. Прекрасное имя Тося. Полное имя Таисия? Некрасиво, вычурно, нелепо. Тася — отвратительно. А Тося — подходит, лучше не надо. Тоня избито, с налетом мешанства, а Тося — прекрасно, это как бы уменьшительное от Тоска, Тоскана, а может быть, и от тоска, и на конце оно становится от "ся" совсем глупо мягким, разбухшим, разлезающим на нежные волокна, как переваренный стебельчатый овощ, но "то" в начале имени держится стрелкой. Тоской, Тосканой, тоской. И все это я пишу, и сладость струится из чая с лимоном, и слезы отцовства и старчества выступают у меня на глазах, но к тому, что было, все это не имеет отношения, это мой теперешний дух витает около тебя, Тося, Тоска, Тоскана, тоска, и стонет, как сизый голубочек и тщится обессмертить тебя, освятив твое имя, потому что, обессмертив тебя, мне удастся обессмертить и себя, написав твое святое имя хотя бы на моей надгробной плите, обмануть смерть, в вечность пролезть на твоём имени, из чая с лимоном создать загробную жизнь. Но только ничего этого не было. Я видел лишь объект преступления. Одежда: платице цвета небеле-

ного холста. Гм. Однако премиленькое. Впрочем, неважно. Особые приметы: глаза довольно широко расставлены, причем кругом глаз кажется словно подведено, чтобы глаза казались большими, а на самом деле это так бывает, смуглость такая, она идет к имени: Тося. Заключение: это признак либо порочности, либо безрассудства, что в данном случае весьма важно.

Преступление было продумано мной до последней мелочи. Этого обиженного и его бесприданницу я отсылаю рвать цветы, а мы с Тосей садимся в лодку. Я на весла. Потом я предлагаю грести вместе, я одним веслом, она другим. Тут я должен был остановиться, потому что меня охватывало знакомое начинающим преступникам волнение — враг преступления. Спокойно: я одним веслом, она другим. Затем я предлагаю с этойкой беззаботностью следующее: для того, чтобы мне удобнее было грести, я обвиваю ее стан рукой, или выражаясь проще, обнимаю ее за талию. Поскольку я уж не до конца урод, человеческое во мне все же где-то на дне осталось, то тут должен быть водоворот, испугом схвачена, влекома в водоворот. Долгой ночи на гробнице Медичи в лодке, конечно, быть не может, но ведь и я не красавец, как дядя Валентин. Тут ведь не красота, а преступление, творимое среди бела дня с помощью подручных средств. Весь расчет останавливался на стане или талии. Дальше рассчитывать представлялось мне так же бессмысленно, как взломщику рассчитывать, на что он будет потом тратить деньги из сейфа. Замысел и состоял в том, чтобы обвить стан или обнять за талию, а дальнейшее являлось лишь самим собой разумеющимся следствием водоворота.

Поезд несет нас — меня, жертву и двух ничего не подозревающих пешек в моей игре. Я как-то забыл про Петину открытие, что я урод. Я смотрю в Тосю как в зеркало, в ее широко расставленные глаза, и зеркало не содрогается и не мутнеет, зеркало принимает меня в свое лоно. А все смотрят на нас и думают: вот четыре товарища едут за город. Наверно, они вместе учат уроки. Все смотрят на меня и думают, какое здоровое, возбужденное и даже приятное лицо у этого юноши-

подростка (я вижу свое лицо в стекле дверей). Тем хуже для них. Не буду же я сам кричать: вы не знаете, кто я.

Если б я был писателем, то теперь я бы обессмертил бессолнечный теплый день, серо-сливочное озеро, осоку, о которую Тося порезала ногу. Тянет сладостью из чая с лимоном, хочется мне сказать себе, пятнадцатилетнему: смотри же на Тосю, на розовый след осоки на ее ноге, чуть вспухший от брызг, на озеро. Боже ты мой, больше никогда этого не увидишь.

На самом деле у меня было состояние внутреннее и, предположительно, внешнее, взломщика сейфа, которому приходится весь день любоваться вместе с владельцем сейфа видами из окон его дома. Обиженный все время обижался и со своей бесприданницей не отставал от нас, и мой замысел разбивался об его обиженность, которую я не учел в своем бесчеловечном расчете.

Мы гоняли по озеру, высаживались, кружили, и вообще выполняли бесчисленное количество действий, каждое из которых писатель бы обессмертил, но которые тогда восхищали меня не больше, чем взломщика безуспешные попытки добраться до сейфа. К этому времени я осатанел и намекнул обиженному с его бесприданницей, что четырех товарищей мы успеем изобразить по дороге домой в поезде, а сейчас или мы в лодке, а они — цветы, или наоборот. Лодка оседает, когда четверо, сказал я с наглостью отчаяния, и он совсем обиделся, но мне было не до его обиженности. Потянуло вечером. Только сейчас. Последняя возможность. Надо решаться. Дух укрепил мой слабый.

Я на веслах влеку жертву в лодке в пустынную и безлюдную часть озера, затем жертва садится по моему замыслу рядом и берет весло. Замечает ли она, что моя улыбка не больше похожа на улыбку, чем если бы я пальцами растянул рот в разные стороны?

В ходе нашего тщетного общения между взломщиком и сейфом, мое сознание зарегистрировало, что Тося прочла в основном одну книгу "Петербургские трущобы", и она меня переспрашивала, читал ли я "Петербургские трущобы", пока

бесприданница Лариса не сказала: "Ты, Тоська, дура. Отстань ты от него со своими "Петербургскими трущобами". Он читал, чего ты и в глаза не видала".

Теперь мне кажется, что я всю жизнь читаю, чтобы не поглупеть окончательно, и если бы я вобрал в себя все книги и все знаки, созданные человечеством, то где же мне тягаться с твоим умом, Тося, если он, как озеро, как небо, как осока, и твое чтение "Петербургских трущоб" наполняет меня теперь трепетом как часть твоей безмятежной мудрости, замысла вселенной, провидения, которого мне не понять.

Тося видит меня насквозь, но это никак не отражается у нее на лице, потому что она умна, как это серо-сливочное озеро, как это бесконечное небо, как эта осока, о которую Тося порезала ногу. Она не только соучастник, а и тайный главарь, но она так умна, что лишь следит за мной безмятежно, как за младенцем.

Я поднимаю руку, чтобы обвить ее стан, или выражаясь проще, обнять ее за талию.

Во всякой чересчур совершенной разработке преступления есть нечто непредвиденное. Непредвиденным тут было то, что стана или талии у Тоси не было. У девушки-подростка, которой только будет шестнадцать, нижние ребра, талия и бедро — как одна стиральная доска, и рука моя не утонула сладостно, вызывая водоворот, а нелепо держалась на этой доске, причем с таким же успехом можно было сказать, что стан или талия ниже или выше.

Теперь моя улыбка не была больше как растянутый пальцами рот — я думаю, в ней появилось нечто человеческое, а именно, страдальческое.

Я произнес свой заранее и тщательно разработанный текст: так грести удобнее.

— Ну вот еще, — сказала она.

А что бы еще сказала Сафо или премудрая мать София? Что бы еще сказало озеро, небо и осока?

В общей сложности моя рука пролежала на доске секунд, видимо, пять по часам. Я все еще улыбался. Я понял страшный смысл того, что произошло, но все еще улыбался.

Мы идем на поезд. Разве мой это рот пересох? Ведь внутри я пустой. Я не урод. Я пустая его оболочка. Вроде жука много лет назад забытого в пыльной папиросной коробке, и оболочка головы еще держится, а щеки у меня под глазами уже проваливаются внутрь.

Мы встали недалеко от двери тамбура, стекло было выбито, а в противоположную дверь лезли граждане, пахло деревней и тем, что гадалки называют дальней дорогой, Тося в сумраке словно спала, как куколка, у которой не закрылись глаза потому, что она не лежит, или, как младенец, который глаза еще не научился закрывать, и спать так было совсем нетрудно, потому что со всех сторон нас подпирали граждане. Меня, то есть пустую оболочку уroda, они силой придвинули к ней, в окне выбитом закат был буйный, огонь вполнеба, а выше — лебеди из розового огня, мы летели в огонь, дальняя дорога, лебеди выгибались, источались от круглости, гражданин, а вернее, горожанин, теснил иногороднюю с мешком, а иногородний мешок теснил меня, и тыльная сторона моей руки, косточки, на которых считают, сколько в месяце дней, теснили Тосю, обретая ощущения младенца, увидевшего жизнь. В сумрак тамбура лезьте граждане, горожанка с букетом, тесните иногороднюю с мешком, а мешок, неведомо для себя, давай нам еще одну жизнь, и поезд, поворачивай, чтоб мы падали в огонь, а сейф невзломанный, спи в сумерках с открытыми глазами, но смугло гори от огня вполнеба, а под огнем, может быть, артерии, как живые корни, тайный перламутр сгиба ног, уединенный, как лес, как спящий с открытыми глазами мох среди лесных корней, огненно черный, нежный и упругий родник увидевшего жизнь младенца.



Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ

ВОСКРЕШЕНИЕ

Какая отвратительная бывает в средней полосе, — в Москве, например, — осень; вовсе нет никакого там "очей очарования" и "пышного увядания". К тому же, увядание редко бывает "пышным", как и старость, а чаще всего слюнявым, дурно пахнущим и неухоженным. И вот сейчас так все и происходит: серые, неопрятные облака ветер гонит клочками бумаги по небу, бутсы мои, дешевое, рифленое дерьмо, хлюпают по жиже, стекающей вдоль тротуара и никакого просвета вдаль: все задернуто, закупорено серой мглой.

Ветер бьет мне в лицо. И нет выхода. И это хорошо. Потому что, когда нет выхода и все кажется абсолютно бессмысленным, тогда и постигается тайный смысл и гармония мира. И сердце начинает чувствовать истину. И обретать надежду. Вы знаете, что за вином жизни, за сизыми, запотевшими гроздьями винограда с неизбежностью последует трезвость, осень, прозрачная вода ручья и желтый лист, чуть согнутый, как ладонь мертвеца, плывущий над красными камнями и мертвыми бурыми водорослями.

Но, поверьте мне, у вас есть надежда, и основана она вовсе не на чувстве, не на тертуллиановой вере абсурда, а на прочном научном основании. Вы не знаете об этом? Это уже утешительно.

Истины, которые известны всем, — суть истины биржи, однодневки, живущие от зари до заката. Эти микроистины рождаются на тучных пажитях преуспевания и успеха. Настоящая истина может появиться только среди паутины, грязи, объедков и окурков, валяющихся на полу, нищеты и полной безнадежности — и это последнее условие — самое главное. Великий выход может найти лишь тот, у кого нет никаких частных, локальных выходов.

Я стою перед замовским кабинетом и готовлюсь улыбнуться. Все те, кто живут в Америке, знают, как это важно, уметь улыбаться. Улыбка должна быть честной, открытой и доброжелательной, даже тогда, когда ты перерезаешь глотку или тебе ее собираются перерезать.

В Израиле и России не улыбаются, во всяком случае, не так часто, как в Америке. Но иногда и здесь улыбка бывает полезна.

И вот сейчас я стою перед дверями замдиректорского кабинета, и психологически готовлюсь к улыбке: она должна быть просительной и жалкой, какой и следует быть улыбке нашкодившего, знающего о своей порочности раба, идущего за милостью к господину. Я мну в нерешительности шапку и готовлюсь улыбаться и канючить, ибо мне до зарезу нужен микроотпуск за свой счет для участия в Циолковских чтениях, происходящих каждую осень в Калуге. Я скажу зам директору, что отправляюсь в Калугу не как праздный слушатель, а как полноправный участник — доклад мой принят и утвержден. В нем все будет как положено: немножко о космической бездне и ее восприятию в европейской культуре и немного о воскрешении по системе Федорова. А если зам поинтересуется Федоровым, то расскажу я ему следующее.

Николай Федорович Федоров, один из наиболее оригинальных мыслителей конца прошлого века, прожил жизнь не богатую внешними событиями. Почти вся она прошла в

стенах библиотеки Румянцевского музея, одного из богатейших книжных собраний России. Основной труд Федорова "Философия общего дела", выпущенный после смерти философа его учениками, представляет собой грандиозный план воскрешения угасших поколений, обретения людьми бессмертия и расселения их по безбрежным пространствам космоса.

Смысл пришествия Христа Федоров видел только в том, что он показал возможность воскрешения. Но самим воскрешением должны заняться люди. Поскольку им в одиночку не по силам решить эту грандиозную задачу, вся суть истории после явления Христа сводилась к выбору силы, способной объединить человечество — "сынов", по терминологии Федорова, для исполнения заветов Христа. Процесс исторической эволюции показал, что православие наиболее пригодно для этой цели.

После объединения мира, или, даже уже в процессе этого объединения, человечество должно приступить непосредственно к воскрешению. Руководить им будут многочисленные музеи и библиотеки, действия которых координируются центральным музеем-библиотекой.

При этом объектом приложения сил ученых станут кладбища. Земля как таковая, по мысли философа, представляет собой не что иное, как напластование умерших тел, вскрывая земные пласты, ученые должны извлекать для последующей реконструкции остатки ушедших поколений, находить мельчайшие частички угасших предков, рассеянных по всей планете и даже космическому пространству.

Выслушав все это, зам, правда, может поинтересоваться, какое все это имеет отношение к Городскому экскурсионному бюро и почему, собственно, он должен давать мне этот микроотпуск. И тогда-то — при этом я опять улыбнусь рабски и заискивающе — я скажу ему, что Федоров полагал, что воскрешение начнется отсюда, из Московского Кремля и Ленинской библиотеки, тогда она называлась Румянцевским музеем. Нет, конечно, не скажу. Это явно идеологическая ересь, ибо воскрешение нигде официально не одобрено и не

утверждено, да и слишком уж экстравагантно все это. У меня и так репутация халтурщика и оригинала. Ни те, ни другие в Кремле не нужны. Там нужны граждане трудолюбивые и стандартные, такие, как подстриженная травка. Воскрешения нам тоже никакого не нужно. Мы и так бессмертны и остаемся жить в своих трудах и величии нашей социалистической родины.

Нет, не скажу я ни про какое воскрешение, а скажу только про освоение космического пространства и торжество человеческого разума. Торжество разума — это определенный оптимизм, притом идеологически безукоризненный.

Я открываю дверь и смотрю на краешек замдиректорского стола: "Простите, простите ради бога за беспокойство... Мне нужен отпуск на несколько дней... Я выступаю на Циолковских чтениях..." — "Отпуск... на несколько дней... — зам повторяет мои слова, не подымая головы от какой-то бумажки, — пожалуйста. Только предупреди, чтобы путевки тебе на эти дни не выписывали."

Да, я забыл, что сейчас осень, слякоть и непогода — сезон кончился и работы нет, поэтому и зам такой покладистый.

А в Калуге все изменилось. Облака разметались по сторонам, а затем и вовсе исчезли — словно щеткой смахнули их с неба, как паутину. Солнце — желтый холодный пятанок на синем небе. Дома — николаевский ампир с дорическими колоннами — тоже желтые и холодные, желтый лист на черном тротуаре. Ветки деревьев — литой чугун с двумя случайно прилипшими охристыми листочками.

Заседание секции по изучению философского наследия Циолковского проходит в Доме политического просвещения, недалеко калужский обком и КГБ.

Зал вовсе не готовили специально к заседанию, даже, по-моему, и не убрали, как следует. Только сняли с доски плакаты, видимо, приготовленные для политзанятий; один из них полуразвернутый валяется в углу. На нем четко указан путь мировой истории: первобытно-общинный строй переходит в рабовладельческий, рабовладельческий — в феодальный, феодальный — в буржуазный, а тот стремится к коммунизму. А после коммунизма нет ничего.

"Скажите, пожалуйста, — маленькая, щупленькая с мрачными прожилочками в собранных пучком волосах женщина, чуть привстав, обращается к очередному докладчику, — вы говорили о возможности вечного существования человечества. Это понятно /она произносит эти слова буднично и просто, как само собой разумеющуюся истину/. Но как вот насчет индивидуального бессмертия?" Оратор — плотненькая, сбитая фигура; белая прядь падает на огромную шишку на лбу /она глазом циклопа упирается в противоположную стену/ — на секунду задумывается и говорит твердо и внятно: "Я думаю, что индивидуальное бессмертие возможно."

Щупленькая женщина садится, вполне удовлетворенная, и никто не требует у докладчика, чтобы он уточнил, каким образом он собирается добывать бессмертие для себя, слушательницы и всех сидящих в зале.

"Смерть должна, как учит нас Федоров, отступить, и она отступит. Ушедшие от нас поколения будут воскрешены", — энергично встряхивает головой очередная докладчица.

"Товарищи! Я лично думаю, что воскрешение является очень важной народнохозяйственной проблемой, — со стула подымается личность с прилизанными набок волосиками — явно какой-то партработник среднего звена. — Товарищи! Это всем понятно. У нас ведь, как известно, нехватка кадров, рабочей силы. Рождаемость падает. Так вот я думаю, что воскрешением нам нужно будет заняться вплотную, да и не откладывать дело в долгий ящик."

На трибуну греческим рапсодом выплывает слепой, его под руки бережно поддерживают два парня, наверное, ученики. "Завеса смерти должна пасть," — рапсод начинает свое выступление густым, сочным басом. Он докладывает, вернее, читает речитативом что-то очень путаное и длинное. После почти часового стояния на кафедре его вежливо, но настойчиво спрашивает обратно в зал председательствующий.

Потом начитаются прения. Появляются ревизионисты, которые указывают на возможность бессмертного существования уже живущих, но отрицают возможность воскрешения умерших.

Иные — уже совершеннейшие отступники. Одним из та-

ких отступников оказался щуплый старикан, представившийся доктором биологических наук. Старичок был необычайно ветхим, слабым и беспомощным, он с большим трудом взобрался на трибуну. Зал замер, ожидая речи. Все полагали, что по старости, чувствуя приближение финала, он будет верным защитником воскрешения и бессмертия. Но старичок в качестве преамбулы сообщил, что биологической науки в СССР нет, и ему стыдно быть доктором биологии. Это ему простилось и даже послышались одобрительные возгласы.

Далее последовали цитаты из Фрейда о психобиологической природе социальных явлений. И это было встречено благожелательно. Старичок, видимо, тоже наслаждался свободой: где еще о Фрейде можно говорить столь непринужденно? Докладчик чмокал губами и произносил, смакуя, каждую букву: Фройд, Фройд... Он говорил именно Фройд, а не Фрейд, с каким-то особым прононсом, делающим его похожим на кадетского профессора, чудом дожившего до 70-х годов века.

Зал терпеливо выслушал и эти заклинания, ожидая, что за этим последует пламенная речь в защиту воскрешения, но старичок, обведя зал взглядом маленьких востреньких глазок, произнес не без ехидства: "Фройд, Фройд, Фройд — великий ученый говорил, что человек — существо биологическое, а поэтому неизбежно должен умереть."

Зал взорвался. Кто-то крикнул: "Как можно было ему давать слово?!" Но старичок, с презрением оглянув ряды "воскресителей" с величавым достоинством сполз с трибуны и исчез.

Заседание оканчивается, и мы выходим на улицу. Погода по-прежнему ясная, небо голубое, безоблачное. Потеплело, и солнышко перестало быть латунной бляхой, но стало теплой желтой лепешкой, только что вынутой из печи. Летящая паутинка повисает на моем семитском носу и слегка щекочет его. Рядом со мной докладчица, коротко стриженная обладательница широкой слегка покачивающейся задницы.

Свежий воздух щедро и просто вливается в мои легкие. Я смотрю на синее спокойное и гармоничное небо, тепленько-добродушные фасады пушкинского времени, на мерно покачивающийся зад федоровистки, и мне хорошо, потому что я знаю, что все должно образоваться и не может быть иначе.

Аппетитную федоровистку я обольщу в ее же гостиничном номере или, на худой конец, по приезде в Москву — надо будет не забыть взять ее номер телефона. С диссертацией тоже рано или поздно все устроится, ведь не дурак же я и не диссидент. А не диссидент я потому, что понимаю космически-метафизическое значение советской власти: она и есть то "общее дело", без которого ни воскрешение, ни заселение космического пространства невозможно. И с человечеством тоже все будет как следует. Не может же быть, чтобы все: солнышко, такое сейчас нежное, веселое и ласковое, чирикающие воробышки, паутина, красный лист, прилипший к чугунной ветке, и этот чудный, неповторимый зад — исчезло без следа, растворилось бы в космической бездне. Да и бездны вовсе нет, все это воображение и вымысел, а есть жизнь — веселенькое, желтенькое и голубенькое.

Федоровистка осязает мой направленный на ее сдобную фигурку взгляд и, повернув ко мне голову, лукаво стреляет в меня глазками. "А ты знаешь, Дмитрий, недавно мне рассказали, что после прочтения "Рабле" Бахтина кто-то сочинил шуточный стишок и начинался он, кажется, так: "И зад ее телесен и был совершенно прелестен". Или что-то в этом роде. А не выпить ли нам, Дмитрий Владимирович? Как вы насчет водочки?" Я соглашаюсь, что дело идет к вечеру и время самое хорошенько поддать. Через полчаса мы сидим у нее в номере и, откупорив бутылку, раскладываем на бумаге закуски: какие-то красноватые, костлявые рыбешки с испуганным удивлением пялят на нас свои непропорционально большие глаза. Мы, крикнув, опрокидываем в себя водку и начинаем общипывать рыбешек, и вскоре превращаем их в кучку косточек. Мы приходим к выводу, что эти перемешанные косточки трудно будет заново одеть в живую плоть, но трудное вовсе не значит невозможное, и рыбки будут обязательно воскрешены.

Выпив еще один стакан, я решительно кладу свою ладонь на колено федоровисточке. Она поворачивает ко мне лицо и устало говорит, глядя мне в глаза: "Не надо, Дмитрий, оставьте все это". Я снимаю руку с ее коленки и выхожу из дома.

Деревья и дома обуглились, куда-то исчезло веселое чирикание воробьев, и мертвящая тишина опустилась на улицу. Но главные изменения произошли на небе. Голубенькое, веселое покрывало кто-то сдернул и обнажил чернильную пустоту с тысячами холодных, безжизненных блесточек, подвешенных кем-то на неизмеримых расстояниях от земли. Как будто оттуда, из этой пустоты, подул пронизывающий ветер и, чтобы согреться, я быстро зашагал по улице, освещаемой тусклым светом качающихся фонарей.

"И зачем я завалился к этой идиотке? Четыре рубля ухлопал на водку, да на закуску рубля два, и вечер пропал. А у меня работа есть: нужно конспектировать ламартинскую "Историю жирондистов" — она у меня уже давно просрочена и нужно в ближайшее время сдать ее в библиотеку...

Думал, что доклады наши напечатают тоже, будет хоть какая-то публикация. А вчера сказали, что еще предстоит этим докладам пройти сто двадцать инстанций, прежде чем разрешат тиснуть тиражом в десять экземпляров.

Зачем я вообще на эти "чтения" приехал? Четыре дня рабочих потерял, а это ведь почти двадцать рублей чистыми! А если к этому прибавить затраты на гостиницу и проезд, то и того больше выйдет.

В то время как обрывочные фразы зло и беспомощно бились у меня под черепной коробкой, я подошел к склону холма; город расползся до самой реки и вниз, среди блеклых очертаний домов виднелись два черных шпиля собора. Я стоял у самого обрыва. Холодный, пронизывающий ветер все сильнее дул с реки. Белая, густая лента Млечного пути прочерчивала небо мертвенной, холодной полосой, волочащейся за кормой идущего по ночному морю корабля. Я был один на корабле, который уже давно отошел от родных берегов, а впереди не было ничего, кроме холода и пустоты. И логичней всего было бросится с борта прямо в белесую ленту с

сотнями миллиардов холодных искорок и без боли, свободно раствориться в них.

"Какое тут может быть расселение человечества по космическому пространству, — в то время как я это думал, белая полоса смотрела на меня холодно и внимательно, как исследователь энтомолог на подопытную букашку, — и бессмертие? Разве не очевидно, что жизнь — это просто случайная рябь на этом холодном, черном космическом море? И разве управись с этими звездами? А вся мировая история — это расплывание плесени по земле, подергивания, пульсации и отсыхание отживших частей.

Было холодно, и стрелка часов приближалась к двенадцати, и я повернул домой. А вдруг это действительно случится, воскрешение это? Я живо представил себе, как это произойдет: из ниши кремлевской стены начнут вылезать, отряхивая красную кирпичную пыль со своих сюртуков и мундиров, секретари, генералы и партработники. И я буду тоже воскрешен, чтобы служить им. И если это так, то это будет самой страшной несправедливостью, ибо отнимет у меня последнюю надежду на равный для всех суд и наказание — наказание смертью и забвением...

Утром я снова сидел в зале, рядом сидела уже давно мной примеченная особа средних лет с мраморными прожилками в собранных пучком волосах. Она пристально всматривалась в лицо оратора, прислушивалась к его словам и быстро строчила что-то в блокноте. Дождавшись конца речи оратора, я придвинулся к своей соседке совсем близко и сказал: "А я не думаю, что нужно всех воскрешать. Может быть, кого-нибудь и не стоит". — "Это кого же это не следует воскрешать?!" — агрессивно переспросила меня соседка. "Ну, Гитлера, например", — осторожно ответил я. "Вы — фашист!" — "Почему?"

Да потому, — назидательно стала говорить мне особа, как тупому и нерадивому школьнику, который даже не потрудился прочесть пару страничек учебника, — что вы плохо изучили Федорова. Он ведь указывал, что воскрешение предков может произойти только в порядке очередности, поколение за поколением; так вот если мы не воскресим Гитлера, то не

воскресим и его предков — у Гитлера ведь тоже были отец, мать, дедушка, бабушка и так далее. И что же это обрекать всех их на вечную смерть из-за какого-то там Гитлера? До этого только фашист может дойти".

Но мне не хотелось воскрешать Гитлера и еще многих, многих других и, взяв слово, я сказал: "Товарищи! Конечно, мы никак не можем признать реакционных взглядов всяких гартманов на отношение человека к его месту в космическом пространстве. Мы никак не можем признать их идеи о необходимости самоуничтожения человечества. Признав это, мы допустили бы серьезнейшую идеологическую ошибку. У человечества, безусловно, есть шанс на вечную жизнь. Но противоположный вариант ведь тоже исключать нельзя: вполне возможно, что выйдет загвоздка с вечной жизнью и исчезнет, как указывал Ф.Энгельс, "мыслящий цвет". И воскрешение тоже ведь может не получиться".

"Кто разрешил ему взять слово?!" — услышал я чей-то выкрик и увидел устремленные на себя беспощадные глаза впереди сидящих федоровистов, среди них особенно выделялась дама с мраморными прожилками в волосах, которая, видимо, никак не желала расстаться с личным бессмертием и вечной жизнью человечества.

"Кто, кто дал ему слово?" — продолжало настойчиво-злобно нестись со всех концов зала. Поскольку ответа не последовало, то один из наиболее агрессивных "воскресителей", подойдя к месту, где сидел председательствующий доктор наук, генерал-майор и либерал, — выстрелил ему вопросом прямо в лицо. Генерал извиняюще развел руками. Я быстро сошел с кафедры и почти выбежал на улицу.

Небо было голубое, глянцевое, слепящее, отвратительное, и желтые дома эпохи Николая Павловича городскими выстроились в ряд. Редкие прохожие попадались мне на пути, но у винного ларька уже стояла солидная очередь.

"Подпольщики! Социалисты! Хотят человечество воскрешать по плану и организовано; и чтобы была затем тотальная космическая гармония с надзором и исправлением павших и заблудших. Не хочу этого. Пусть сами себя воскреша-

ют и тех, кто на это согласен — партработников, директоров, преподавателей диамата и диссидентов всех сортов, а меня не надо — уж пусть я сгину без следа со всеми моими предками. Но будет у меня та единственная свобода, которую не может отобрать никто, даже самый деспотический из всех земных режимов — свобода разорвать это глянцевое, голубое покрывало лжи и прыгнуть в ничто — в белесую пудру Млечного пути. И надо спешить... Спешить на вечернюю электричку, идущую в Москву: путевки мне уже выписали. И мне надо взять их прежде, чем Бюро наше закроют".

Я собирался покинуть Калугу еще днем, но провозился до самого вечера и, когда сел в автобус, мутная тьма окружила меня со всех сторон. Автобус испуганно и бессмысленно тыкался усиками света то в одну, то в другую щель между домами. Электричка подошла к платформе, громыхая вагонами, и я забрался в один из них. Поезд тронулся и вагоны плавно меня укачивали. "Надо сдать и законспектировать Ламартина, — мысль возникла без всякой связи с предыдущими, — и писать. А когда наступят лучшие времена, тогда и напечатаю. Ведь когда пишешь в пустоту и для пустоты, посылаешь сигналы в эти белесые космические сгустки, тогда-то и создаешь что-то стоящее; вот Лосев, например, лет тридцать его никто не печатал, а к девяноста годам стал выпускать книжку за книжкой. А доживу ли я до девяноста лет? И зачем мне все это? Книжки, положенные на могильный холм... И как воняет отвратительно в этом вагоне — наверное пьяный наблевал и не убирает... Да и винить их нельзя: попробуй, найди уборщика на пятьдесят рублей... Надо немного поспать, а то завтра рано вставать, да и три часа до Москвы трястись".

Я прислонился к стенке сиденья и попытался задремать, но через некоторое время кто-то тронул меня за плечо. Длинная фигура с одутловатым лицом медленно покачивалась надо мной, глаза пьяно блуждали. "Ты иностранный подданный или нет?" — "А какое это имеет значение?" — "А вот какое: ежели ты наш, то дам по морде, а ежели иностранный, то нет". — "Я ваш, а ежели ударишь, то отвечу", — смело

ответил я качающейся личности и вовсе не потому, что любил драться, как раз наоборот, а потому, что видел, что достаточно только ткнуть, чтобы личность растянулась на полу вагона. Видя мою решительность, фигура, покачавшись немного на месте, отошла, и тут же поезд трянуло и он встал; гражданин, клевавший носом возле меня, проснулся от толчка и, ошалело захлопав глазами, схватил свою авоську.

Я понял, что мы приехали. Я вышел из вагона. В Москве шел дождь, мелкий, морозящий. Все: люди, перрон, поезд — были выкрашены в серые, блеклые тона; а впереди черным пятном виднелась пасть метрополитена. Среди размытых, неопределенных цветов только это черное пятно было определенным, ясным и беспрерывно втягивало в себя тысячи маленьких, блеклых фигурок. Я знал, что это и моя судьба, и потому сделал шаг к черной воронке, но совсем близко от нее холодный пот выступил у меня на лбу (я, наверное, простудился), и ноги подкосились. Но я сказал себе, что это глупости и этого избежать нельзя... И надо вовремя взять путевки, а то придется приезжать в Бюро ни свет ни заря до начала работы. И я встал на эскалатор. И как только я это сделал, мне сразу стало свободно и радостно, ибо теперь уже нельзя было ничего изменить. Все было predetermined, и лента быстро понесла меня вниз.

НАУМУ КОРЖАВИНУ — 60 ЛЕТ

Кто из нас знает, как отмечать юбилеи поэтов и что сказать в этот день о Науме Коржавине? Что он замечательный русский поэт? Что многие из нас знают и любят его? Что желаем ему многих лет жизни? Но столько этих и подобных им фраз было сказано на писательских юбилеях, что охватывает нас боязнь — как бы не получился он лубочным, этот живой, вечно всклокоченный и вечно бунтующий, не знающий себе равных по дарованию и темпераменту Наум Коржавин. Он поэт трагичной и прекрасной судьбы. И к тому же неповторимой. Трагичной не только потому лишь, что почти мальчиком был брошен в сталинские лагеря — через лагеря в те годы прошли многие. И не потому лишь, что в России почти не печатался, хотя и был любимым поэтом Твардовского. Не печатаются при этом режиме многие истинные писатели. Но глубоко трагичен сам рисунок жизни Коржавина, когда он, русский поэт, один из самых больших поэтов нашего времени, вот уже многие годы вынужден жить в изгнании, в такой невообразимой дали от Родины.

Об этой его связи с Россией никто не сказал с такой силой, как сказал он сам в своей "Поэме существования (Бабий яр)", напечатанной в первом номере нашего журнала "Время и мы".

**Но убить меня — просто. Сказать: "Не твоя Россия..."
Ведь она — моя жизнь, путь к вселенной, и к Богу, и к песне.
Но бывает, что скажут... И, все потеряв, обессилив,
Я тогда ощущаю опять под ногами бездну.**

Ощущая под ногами бездну, не зная пристанища, мытарствуется душа поэта "в этом вздыбленном мире, где люди в раздоре с Богом". Но сам поэт всегда оставался верен себе — и там, где вынужден был жить и писать под тяжким сапогом режима, и здесь, вдали от Родины-России — "и свет и любовь до сих пор в моем сердце живы". И не в этой ли верности себе, своему стиху и слову неповторимо прекрасна судьба Наума Коржавина?

Иван ЖДАНОВ

ИУДА ПЛАЧЕТ — БЫТЬ БЕДЕ

* * *

Иуда плачет — быть беде!
Печать невинного греха
он снова ставит на воде,
и рыбы глохнут от стиха.
Иуда плачет — быть беде!
Он отражается в воде.
И волны, крыльями шурша,
и камни, жабрами дыша,
следят за ним.
Твердь прорастает чешуей,
и поглощаемый слезой
твердеет дым.
Иуда плачет — быть беде!
Опережая скорбь Христа,
он тянется к своей звезде
и чувствует — она пуста.
В ней нет ни света, ни тепла —

одна промозглая зола.
 Она не лед и не вода,
 ей никому и никогда
 не смыть греха.
 И остается в голос свой
 вводить, как шарик огневой,
 упрек стиха.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Мелеют зеркала, и кукольные тени
 их переходят в брод и возвращают нам
 забытые черты невинных отражений,
 и множат этот мир, и он трещит по швам.

Вот так перед толчком вдруг набухают кошки,
 сквозь непролазный вой чугунный шар катя,
 подземный гром гудит при свете медной плошки,
 и воскресает дождь, и плачет, как дитя.

И не стряхнуть листвы окаменевшей дрожи,
 и не поднять руки, и не поймать зрочки,
 там жарится руда для корабельной кожи,
 и катится орех по полю вдоль реки.

Вот-вот переведут свой слабый дух качели,
 и рябью подо льдом утешится река.
 И, плачем смущена, из колыбельной щели
 сквозь зеркало уйдет незримая рука.

* * *

Мы эту ночь с тобой не проведем,
 а утром не проснемся на рассвете,
 не удивимся, не увидим это:

далеко в море перешедший дом.
 Он не поможет расцвести волне
 и даже завязаться не поможет,
 его не будет, и никто, быть может,
 о нем не вспомнит, увидав во сне.
 Но почему, как много лет назад,
 я эти окна снова вспоминаю
 и в них смотрю, и двери открывают?
 Не ты ли, Моцарт, в этом виноват?
 И если есть в нем щели и пазы,
 свистит в них ветер и доносит с улиц
 тот мерный шум, в который завернулись,
 как в одеяло, шорохи грозы.
 И вечерами волны надо мной,
 распахиваясь, близятся в приливе
 и мечутся в своем речитативе,
 из пенных створок падая в прибой.
 Не твоего ли, неизбежность сна
 уже во всем встречается примета?
 Твой сон — само утяжеленье света
 и облегченье мрака. Ты ясна...

ДО СЛОВА

Ты — сцена и актер в пустующем театре.
 Ты занавес сорвешь, разыгрывая быт —
 и пьяная тоска, горящая, как натрий,
 в крошечной темноте по залу пролетит.
 Тряпичные сады задушены плодами,
 когда твою гортань перегибает речь
 и жестяной погром тебя возносит в драме
 высвечивать углы, разбойничать и жечь.
 Но утлые гробы незаселенных кресел
 не дрогнут, не вздохнут, не хряснут пополам,
 не двинутся туда, где ты опять развесил
 крапленный кавардак, побитый молью хлам.

И вот уже партер перерастает в гору,
 подножием своим полсцены обхватив,
 и, с этой немотой поддерживая ссору,
 свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.
 Ты — соловьиный свист, летящий рикошетом.
 Как будто кто-то спит и видит этот сон,
 где ты живешь один, не ведая при этом,
 что день за днем ты ждешь, когда проснется он.
 И тень твоя прошла по городу нагая
 цветочниц ублажать, размешивать гульбу.
 Ей некогда скучать — она совсем другая,
 ей нечего дудеть с тобой в одну трубу.
 И птица и полет в ней слиты воедино,
 Там свадьбами гудят и лед и холода,
 там ждут отец и мать к себе немого сына,
 а он глядит в окно и смотрит в никуда.
 Но где-то в стороне от взгляда ледяного,
 свивая в смерч твою горчичную тюрьму,
 рождается впотьмах само собою слово
 и тянется к тебе, и ты идешь к нему.
 Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем,
 и всадники толпой соскакивают с туч
 и свежестью разят пространство раздвижное,
 и крылья берегов обхватывают луч.
 О, дайте только крест! И я вздохну от боли,
 и продолжая дно и берега креня.
 Я брошу балаган и там, в открытом поле...
 Но кто-то видит сон, и он длинней меня.

* * *

В.Ч.

Откуда нам было заметить, что в трех километрах отсюда,
 от этого бара чумного, куда нас судьба занесла,
 в полях полковые зарницы, питомцы армейского зуда,
 нам веерной сталью маячат сквозь толщу пивного стекла?

Откуда нам было дознаться, что это за нами следила
 гремучая ветка рябины, с полыни сдирая слюду?
 Но звезды в продольном разрезе сплела телефонная жила,
 и все предрешенные встречи запутались в них на ходу.

Не лопнет струна гороскопа, пока номера телефонов
 полярными буднями диска из будки глазают в окно.
 Трепещет ли нитка в рубахе, рябину ли гнет Персефона,
 а звездная нить расставанья укромное рвет полотно.

Еще не готовые к встрече, но годные к убыли мерной,
 мы здесь, за дубовым окопом, повитые хмелем замрем.
 Но как обесточить зарницы? — в их удали цепкой и нервной
 нацелено что-то такое на нас дальнобойным ядром.

Пускай электрической плотью себя одеваает рябина,
 пусть ночь остается на месте, а почва плывет из-под ног,
 отечество — ночь и застолье, а все остальное — чужбина;
 мы — верные граждане ночи, достойные выключить ток.

ПОРТРЕТ

Ты можешь быть русской и вечной,
 когда перед зеркалом вдруг
 ты вскрикнешь от боли сердечной
 и выронишь гребень из рук.
 Так в сумерки смотрят на ветви,
 в неясное их колдовство,
 чтоб кожей почувствовать ветер,
 прохладную кожу его.
 Так голые смотрят деревья
 на листья, упавшие в пруд,
 туда их, наверно, поверья
 листвы отшумевшей зовут.
 И гребень и зеркало рядом,
 и рядом деревья и пруд,
 и что-то скрывая за взглядом

глаза твои тайной живут.
 Ты падаешь в зеркало, в чистый,
 в его неразгаданный лоск,
 на дне его ил серебристый,
 как лед размягченный, как воск.
 Искрящийся ветер, перешитый,
 навек перестроенный в храм.
 И вечный покой Афродиты
 незримо присутствует там.
 Улыбка ее и смущенье
 твое озаряет лицо,
 и светится там в отдаленье
 с дрожащего пальца кольцо.
 Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
 чужая в столь зыбком краю.
 И красное марево жеста
 окутает руку твою.

СМЕХ

Смех подошел ко мне вплотную
 лицо руками обхватил
 и душу теплую живую
 в один щелчок опустошил.
 И, как с костра за дымом пламя,
 моим смятением влеком,
 он губ моих пятью перстами
 срывал язык за языком.
 О, дайте тяжесть разговора,
 прервите, не вводите в грех!
 Как ивы в грустные озера,
 свисали плечи в глупый смех.

* * *

Березовый ли сок дымится или рана?
 Бросай монету в щель — и вздрагивает автомат,
 и, форму переняв граненого стакана,
 дохнут в лицо туман и жидкий виноград,
 И кажется, внутри жестянки-автомата
 деревья, разломав по косточкам стволы,
 срывая кожу с лиц и кошениль с заката,
 торопятся назад сквозь черноту золы.
 Торопятся назад, разъединяя запах
 ромашки и воды, спешат обратно в прах.
 И вот уже стакан на перебитых лапах,
 облепленный листвой, расплескивает страх.
 Торопимся и мы. Куда? Еще не смыта
 со стенок бытия запекшаяся кровь.
 Мы падаем в стакан — в стеклянное корыто,
 и век глотает нас за славу и любовь.

* * *

И музыка поражена,
 И в пряди русые рояля
 Уже вплетается она.
 И, воздух срезанный печалю,
 Прозрачной кажется стена.

Еще чуть-чуть. Наоборот,
 сначала будь стерней колючей
 под снегом желтой — и вот-вот
 тот шелест чуткий и дремучий
 со стеблем вместе прорастет.

Наполни шорохами звук,
 верни его в зерно немое,
 пускай он выпадет из рук —
 и прорастет, усилясь вдвое,
 в молчанье брошенный испуг.

А после стены прорастут
своей прозрачностью, и лица
из тьмы появятся — и тут
никто не сможет поручиться,
что стебли нас не обоймут.

ПЕСЕНКА

А вековая тяжесть эта
по камню, видно, тосковала,
да не нашла его и где-то
меня случайно повстречала.
А где нашла меня, не скажет,
пока на дно со мной не ляжет.
Но тяжелее дна морского
вся тяжесть вековая эта,
уже окаменело слово,
не получившее ответа.
И как спасти его не скажет,
пока на дно со мной не ляжет.
Я стал безропотную тенью
и гостем собственного тела,
и недоступная спасенью
моя тоска окаменела.
А что ее мертвей, не скажет,
пока на дно со мной не ляжет.

Теодор ГЛАНЦ

МИР, ПОХОЖИЙ НА БЕДЛАМ

МИРАЖ

Не сразу попадешь в мираж.
Сначала в бронзовых сандалиях,
Крылатый лев, пустынный страж
На желтой синеве, а дале —

Кривое тулово уродца
(Ручонки сложены крестом)
На выступающем колодце
Из синей желчи, а потом —

Сон: одиночество брахмана.
Превыше йоговских систем
Иллюзия самообмана,
Что ты не одинок. Затем

Усы над мискою провисли:
Улыбка черного кота,

Зрачки, вбирающие мысли
Из выжженных мозгов. Тогда

Исчезновение в инфернале.
Тугой неколющий венец.
Затем, что был потом и дале,
И наступил тогда конец.

* * *

На колорит картин расплывчатую тень
Входящего бросает полдень сизый.
Стекающий с полотен яркий день
Сгущается химерами в карнизах.

На колорит тоски — расплывчатый мазок
Своей души, о ангел озаренья —
И потечет янтарно-бледный сок
По своду зала, тронутому тленьем.

Там сырость проступает сквозь карниз —
Вступленье слез на выступе барочном,
И нетопыри вспархивают вниз
От высоты свободной, но непрочной.

Там сквозь свинцово-призрачную мглу,
Зловонных трав причудливые блики.
Рассвет приходит чуткий и безликий,
Как дромадер, пройдя через иглу.

РЯЖЕНИЕ

С усами, жутко подрисованными,
Он движется, герой-отступник,
По мостовой, исколесованной
Как государственный преступник.

За аккуратными аллеями,
Пугая мерзнущую птицу,
Трясутся: борода приклеенная
И театральные ресницы.

Не знают мчащиеся санки,
Какая спрятана угроза
Под Арлекином, Ванькой-встанькой,
Мальвиной или Дед-морозом.

Над ним повисли аллилуями
Собачий визг и пенье птичье.
И маску дарят поцелуями
Те, кто терзал его обличье.

И в чудеса он топчет веру,
Входя в подъезды, внутрь и мимо,
С колючим носом Люцифера
И синим взглядом херувима.

Его встречают лязгом, грохотом.
Еще немножечко мороки —
И новый век, как шут гороховый,
Обнимется со скоморохом.

НАОБОРОТНЫЙ МИР

Я видел мир похожий на бедлам,
В пустыне жгучей — дамбы и запруды.
В святилищах — вино, плевки и хлам.
На свалках — золота и бриллиантов груды.
Грязь в алтаре и в стойле фимиам.
Христа, отрекшегося от Иуды.

Быть может, он мне виделся оттуда,
Из обратной стороны реклам,

Где гравий, кажущийся изумрудом,
Бросает в пот мужеподобных дам,
И мы боимся пяток лилипута.

Я думал, это было в сне пустом,
Где, словно подгоняемый хлыстом,
Клочок тоски сгущается в виденье.
Но здесь Иуда, преданный Христом,
Вставал и шевелил щербатым ртом.
И бешеное начиналось бденье.

ДВЕРЬ

Дверь захлопнулась перед носом,
Заострившимся от испуга.
Зачеркнувшая все вопросы
Деревянно-крашенных стен.
Заскрипевшая голосами
Поводящих шеями сфинксов.
Дверь, я буду беседовать с вами,
Не вставая с сухих колен.

Дверь, вы думаете, мне внове
Ваша масляная стыдливость?
И захлопнувшие вас руки
Белый вызов ночной тиши.
Отделяйте сегодняшней скукой
Послезавтрашнюю гадливость,
Послужив для нее границей
Со вчерашним восторгом души.
Всех начал я конец предвижу
В скрипе ваших несмазанных петель.
Словно музыки нету больше —
Бесконечный траурный марш.
Я ударюсь грудью об ветер,

Я наполню улицей сердце,
Я в тоске в мясорубку всуну
Головы оранжевый фарш.

— Милый мальчик, мне, думаешь, сладко
Быть всю жизнь сердец разделеньем?
Мне б у вечности взять отгул!
Мне б у времени взять отбой!
Я сама мечтаю украдкой,
Вопреки человеческим веленьям,
Позабыв долгов аксиомы,
Распахнуться перед тобой,

Но у времени есть законы —
Нет не нам возродить прошедшее.
И не нужно томными стонами
Ворковать о тоске бытия.
Пусть фанатик кричит о будущем,
Пусть о прошлом твердит сумасшедший.
Настоящее — время сильных.
Настоящее — это я.

Пусть оно и не очень красиво —
Не стучите в меня ногами.
И прочнее бетонных дотов
Заржавевший и старый крюк.
Над шипением анекдотов,
Над мечтателями-врагами
Я воздвигнусь вызовом белым
Мною хлопнувших мягких рук.

Дверь стоит приятно осклабься.
Дверь застыла, ответом гордясь
Новых фраз предчувствуя завязь,
С дверью я порываю связь.

Я бреду по лестнице жизни
Этажом запечатанных комнат.

Кто-то томно за дверью взвизгнет,
Кто-то в ночь фонариком брызнет,
Но меня здесь никто не помнит.

Но я лезу упрямо выше,
Хоть колотится кровь в виски.
Может быть, новый день я увижу
У последней чердачной доски.

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Я пьяный в дым корабль Рембо Артюра,
На мне дрожат, как пятна от вина,
Сюжеты всех романов авантюрных,
Всех континентов красная луна.

Торпеды всех веков меня таранят,
И скалы стонут в штормовые дни:
— Стань на прикол! Ведь ты вконец изранен!
Ты заслужил покой, так отдохни!

Но не уйду я, не свершу измены,
По всем морям несется мой напев,
Пускай вино все выпито, и пену
Я пью, до переборок опьянев.

Пускай давно насквозь пробито днище
И стрелки лет несут меня к концу —
Ничьих сапог тугие голенища
Не проскрипят по моему лицу.

Один конец — у лайнеров холеных
И у бродяг, просоленных, как я:
Глядеть в глазницы рыб глубоководных,
Где плещет рек подводная струя.

Один конец от голода ль, от жира.
Так пусть, уйдя за видимый рубеж,
Над свалкой туш дородных пассажиров
Я пронесу бесцельный свой мятеж.

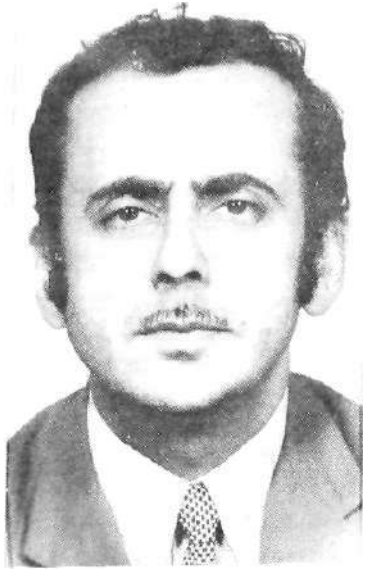
Я пьяный в дым корабль из оперетты,
Я дымный трагик с клоунской судьбой,
Мальчишки всех дорог, забытые поэты
Меня кружат по луже дождевой.

* * *

Труби, душа! Я на пороге ада.
Из всей к вратам спешащей мелюзги
Я самый мелкий. У меня досада:
Все знают: у меня гниют мозги.

Я был бы идеальный подсудимый
Пред тем судом, где черепа кроша,
Ножи вонзают в сердце — но клоним я
К раскаянью: гниет моя душа.

Мои грехи все собраны на блюде:
Немножечко юродства, воровства,
Немножко погрязаний в сладком блюде,
Немножко приторного естества —
Все это на зубах владыки мира
Не тронуло б и мускула лица,
Хрустящего, как блестящая порфира,
Но есть преграда: сгнившие сердца.



Борис МОЙШЕЗОН

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИДОЛАХ

Всякий раз размышления о компьютерах вводят меня в некий замкнутый круг, из которого не так просто выбраться. С одной стороны, мне трудно представить общество будущего, где компьютеры не играли бы огромной, может быть, даже доминирующей роли. Я бы рискнул сказать даже так: именно компьютерам, возможно, предстоит заменить в этом мире униженных и оскорбленных. Не исключено, что возникнет реальная перспектива создать общество, где будет равенство. То есть появится шанс, когда всю тяжелую, унижительную работу, и прежде всего связанную с любого типа рутинной, примут на себя электронно-вычислительные машины. Общество обретет гигантскую армию технических исполнителей, беспрекословных, не сетующих на изнурительный труд, не устраивающих забастовок, не требующих повышения зарплаты.

Но при всем этом у меня нет однозначного ответа на вопрос: сделает ли компьютер человека более счастливым?

Я даже не уверен, что при определенных условиях он не поведет нашу цивилизацию по пути вырождения.

Чтобы разобраться в этом, давайте вначале ответим на вопрос, каковы реальные возможности компьютера? Насколько он в действительности способен заменить человека? На этот счет существует огромное количество литературы, содержащее еще большее количество спекуляций о надвигающейся компьютерной эпохе, о компьютерном человеке, его неограниченных возможностях и т.д. Но когда мы пытаемся ответить на однозначно поставленный вопрос: что может компьютер? — то получаем в общем однозначный ответ: он может делать вещи очень определенные, не идущие ни в какое сравнение с задачами, выполняемыми человеческим мозгом. То есть, конечно, он способен выполнять какую-то часть его работы. Но какую именно? И вот о том, какая сфера мозговой деятельности по плечу электронно-вычислительным машинам, я бы и хотел поговорить.

Обратимся к двум широко известным вещам: машинному переводу и распознаванию образов. О проблеме машинного перевода речь идет уже десятилетия, но никакими реальными достижениями компьютерные переводчики похвастаться не могут. И вот почему. Осуществляя перевод, компьютер с помощью умело составленной программы способен без особого труда отыскивать лексические и, возможно, даже синтаксические аналоги. Но он абсолютно бессилён перед задачей перевести с одного языка на другой мысль. В лучшем случае он может сделать плохой подстрочник, но не полноценный перевод со всеми нюансами, оттенками, подтекстом оригинала.

И еще один, почти детский пример. Известно, что наш мозг обладает уникальной возможностью распознавать образы. Если вы увидели человека десять лет назад всего один или два раза, то, несмотря на прошедшее время, вы без труда узнаете его в толпе. Как показывают эксперименты, компьютер не способен распознавать двухмерные образы.

Можно привести еще множество примеров, показывающих его ограниченные возможности по сравнению с нашим

мозгом. Но давайте попытаемся подойти к некоему более общему фундаментальному ответу, чтобы понять, в чем тут дело.

Еще много лет назад, решая математические задачи, точнее, отыскивая в них ошибки, я чисто условно пришел к мысли о существовании двух типов мышления — "последовательного" (одномерного) и "параллельного" (многомерного).

Позже я часто обращался к этой условной схеме. Дело в том, что последовательное, или компьютерное, мышление — это и есть мышление чисто логическое, при котором наша мысль продвигается вперед маленькими, последовательными шажками. Один шаг логически вытекает из другого, без малейших зигзагов и отклонений. В виде такой вытянутой линии нетрудно выразить книжный текст, бухгалтерские расчеты и даже язык нашего общения.

Но в то же время каждый профессиональный математик, чья деятельность неизменно связана с поиском ошибок, знает, что, проверяя задачи чисто логическим путем, то есть делая шаг за шагом, невозможно отыскать ошибки. Математики находят их тогда, когда уходят в сторону или откатываются назад, то есть действуют не формальным способом, а путем сопоставления проверяемых расчетов с другими данными. Сверяя, рассуждая, идя то вперед, то назад, математики только так и находят ошибку. И это, собственно, и есть процесс мышления, который не существует без ассоциаций, образов, зигзагов, отклонений, ухода в сторону. Мышление невозможно вытянуть в одномерную линию. И потому оно недоступно или почти недоступно компьютеру. Именно по этой причине ЭВМ могут переводить с языка на язык слова, но не мысли. Они распознают линию, но бессильны перед распознаванием двухмерного образа. И там, где решающую роль приобретают идеи, творчество, образы, открытия, — там у вычислительных машин, в принципе, не видно будущего.

Конечно, можно мечтать о так называемых "многомерных" компьютерах, но сколько реализация этой мечты требует сил и средств, — оценить невозможно.

Могут возразить, что компьютерное мышление имеет само по себе большое значение. И разве не станет величайшим достижением человека, если он построит ЭВМ, способную создавать по образцу нашего мозга безошибочные логические построения?

Тут я хочу отвлечься от темы и показать, к каким драматическим последствиям способно привести бездумное поклонение логике.

Много лет назад, еще в России, читая книгу Моргенштерна, который вместе с фон Нойманом известен как автор теории игр, я встретил в ней одно любопытное высказывание Гаусса — одного из великих математиков и неслыханных вычислителей прошлого века. Так вот, по словам Гаусса, "плохого вычислителя узнают по тому, со сколькой большой точностью он делает свои вычисления". Казалось бы, наоборот: если ты хороший вычислитель, ты должен очень точно делать расчет. Однако же, по Гауссу, хороший вычислитель — это человек, который знает, где надо остановиться. Почему же так? Может быть, жалко денег на большие вычисления? Или, скажем, человеческого труда? На самом деле ответ куда более тонкий и нетривиальный.

Дело в том, что, когда вы делаете свои вычисления, вы имеете какие-то исходные, экспериментальные данные. Но, как известно, эти данные никогда не бывают точны. Любой человек, сделавший лабораторную работу, знает, что после того как он закончил измерения, он обязан сделать допуск на вероятную ошибку, всегда существует интервал, в рамках которого возможно отклонение.

И вот, когда, основываясь на этих данных, вы начинаете вычислять, то от арифметических действий интервал увеличивается. То есть полученные "сумма", "разность", "произведение" содержат уже гораздо большую ошибку. Деление — это вообще чудовищная вещь, способная во много крат увеличить неточность.

Если вы делаете слишком много шагов, то начальная ошибка может так вырасти, что результат вообще станет бессмысленным.

То же самое относится и к логическому мышлению, которое уподобляется длинной цепочке вычислений. Когда вы начинаете логически рассуждать, вы исходите из неких аксиом. Но любые аксиомы по самой своей сути неточны, в них всегда есть какая-то условность, попытка абстрагироваться, уйти от реальности и т.д. То есть уже у основания вы что-то теряете и делаете ошибку. И когда выстраивается длинная цепочка, то, естественно, уход ваш может быть очень сильным.

Существует, например, такая известная вещь, как неевклидова геометрия, или геометрия Лобачевского. Что такое неевклидова геометрия? Есть аксиома параллельности, то есть через точку вне прямой вы можете провести только одну параллельную. В неевклидовой геометрии она заменяется другой аксиомой — что через точку вне прямой можно провести больше, чем одну параллельную. Казалось бы, изменили только одну из аксиом геометрии. Но выясняется, что когда на этой основе вы начинаете строить цепочки, то попадаете совсем в иной мир. В этом неевклидовом мире мы видим огромное число вещей, которых нет в нашей геометрии — нет там подобных треугольников, сумма углов треугольника не равна 180° и может быть как угодно близка к нулю.

Что касается умозрительных, логических конструкций и просчетов, которыми они чреватые, то это не просто вопрос чистой теории или игры ума. Именно таким образом становятся понятны многие ошибки "прогрессивных" западных интеллектуалов, которые в своих рациональных, логических построениях доходили до идеализации советского социализма и поклонения Сталину. Часто это происходило у них не от злой воли, а от "умничанья", они выстраивали логические пирамиды и, следуя своей умозрительной логике, готовы были не верить своим глазам. Одно вытекало из другого: феодальный строй — из рабовладельческого, капитализм — из феодального, в недрах капитализма родился революционный пролетариат, который создал первое в мире социалистическое государство. Его вождь, выполняя волю истории, разумеется, не мог ошибаться, даже когда уничтожал де-

сятки миллионов своих сограждан. Ибо делал он это во имя светлого будущего человечества.

И вот, вместо того, чтобы мыслить "параллельно", ассоциативно, на основе здравого смысла, оказавшись во власти такой социальной неевклидовой геометрии, западные либералы доходят до оправдания сталинских преступлений.

Многие из них и по сей день в социализме видят будущее человечества. Все что ни происходит, они рассматривают в этом плане. Например, ПЛО убивает детей, но, с точки зрения мировой революции и социализма, — это все-таки положительный факт, поскольку расшатывается бастион империализма. Такова логика этих либералов.

Вернемся, однако, к ЭВМ. Компьютер — это по природе своей существо, которое всегда делает длинные цепочки. Когда мы закладываем в него информацию, она сама по себе уже неточна, и в своих длинных логических построениях он как интеллектуал, понимающий Сталина через длинный ход истории, неминуемо натворит много ошибок.

То же явление хорошо иллюстрируется на примере механики. Что такое механика? Она дает нам возможность предвидеть траектории пули, снаряда, корабля, спутника и т.д. Когда мы имеем начальные данные, то с помощью уравнения Ньютона можем предвидеть любое механическое движение. С другой стороны, опять же известно, что в начальных данных всегда есть какое-то отклонение, и чем мы дальше идем по траектории, тем наше предвидение становится все менее и менее точным.

Строго говоря, мы не имеем права последовательно мыслить. Точнее, мыслить только последовательно, длинными логическими цепочками, не выверяя их параллельными ассоциациями и здравым смыслом. Возьмите, например, сыщика. Разматывая цепь преступления, он по дороге проверяет то одну версию, то другую, то третью, он идет как бы зигзагами, сопоставляя одну версию с другой, анализируя, выверяя их здравым смыслом. Все это и есть "параллельное" мышление, которое отличает человека от самого "умного" компьютера.

Чтобы закончить эту мысль, я хотел бы сравнить компьютер с математиком. Кажется, такое сравнение вполне правомерно — в обществе ведь принято думать о математиках как о людях очень сухих, формально логичных, способных каждый шаг выверять разумом, что называется, — люди суперрациональные. Но на самом деле — это совершенный вздор. Человек сугубо рациональный заниматься математикой не может и уж, по крайней мере, не может чего-то достигнуть. Притом по очень простой причине. Ведь чтобы доказать какую-то теорему, ее надо открыть.

Настоящий математик должен генерировать идеи. То есть у него в мозгу, кроме участков, способных к чисто формальному, логическому мышлению, существуют и такие, которые должны быть анархичны и хаотичны до невероятности. Какая-то часть мозга должна быть разболтана. Математик должен обладать колоссальной интуицией. Без этого невозможно внутреннее озарение, а следовательно, рождение новых идей.

Много лет назад меня очень поразил знаменитый советский математик Гельфанд, один из моих научных руководителей в аспирантуре. Как-то в самом начале учебы я в разговоре с ним похвастался, что у меня очень развито чувство самоконтроля. На самом деле оно не было у меня особенно развито, просто с детства, под влиянием "Пионерской правды", я всегда за это боролся — режим дня, сила воли, умение себя организовать, делать все вовремя... В аспирантуре у меня резко улучшился быт, и я искренне уверовал, что здесь-то мне и поможет самоконтроль. Услышав про все это, Гельфанд сказал: "Ну тогда из вас настоящего ученого никогда не выйдет".

Слова эти я запомнил на всю жизнь, а именно, что предельный самоконтроль, дисциплина, рациональность на самом деле могут быть вредны науке. Чтобы мыслить, нужна свобода, раскованность, если хотите, даже анархичность мысли. Все это и характеризует наше многомерное, неоднолинейное мышление, которое вряд ли когда-нибудь появится у компьютера.

Закладывая программу в компьютер, мы как бы сводим все богатство нашего мышления к одной линии, придаем ему одномерный характер, а если приплюсовать к этому накопление ошибок в длинных логических цепочках, то станет очевидным, какие опасности подстерегают стремление заменить человеческое мышление компьютерным. Чтобы проиллюстрировать это, давайте обратимся к советской экономике. Как известно, она основана на централизованном планировании. В СССР написано множество работ, в которых доказывается преимущество этой системы перед свободным рыночным хозяйством.

Советские экономисты, правда, признают, что в планировании нередко допускаются просчеты. Но в перспективе они видят возможность создать с помощью компьютера образцовую плановую систему. Но что будут представлять собой эти образцовые многоэтажные планы, даже если их удастся выстроить? По существу это будут те же чрезвычайно длинные логические цепочки, где не может не идти накопление ошибок.

Должно быть ясно, что ошибки и отклонения неизбежны даже при составлении плана на одном предприятии. Но будучи накопленными в масштабе отрасли и тем более — страны, они могут приобрести такой размер, что сам план потеряет свое значение.. Отсюда неизбежно, что советская система планирования будет и дальше сталкиваться с трудностями — какие-то планы окажутся нереальными, какие-то чересчур заниженными и их выполнение не принесет нужного эффекта.

Уже сегодня лучшим подтверждением этого является неспособность советского режима справиться с проблемами сельского хозяйства. В свободном мире эти проблемы решаются с невероятным успехом, причем таким малым количеством населения, что правительства могут себе позволить вообще ими не заниматься. Сельское хозяйство как раз и есть та область, где менее всего пригодно централизованное планирование. Влияние погоды и природных условий абсолютно невозможно формализовать, а следовательно, заложить в программу компьютера. И потому при ведении сельскохо-

зайственных работ особенно важны "свобода маневра", "анархичность", "стихийность", развязывающие руки фермеру.

Впрочем, не только сельское хозяйство. Рынок вообще с его свободными ценами и "стихийей" демонстрирует свои явные преимущества перед плановой экономикой. Грубо говоря, тоталитарное государство — по крайней мере в идеале — как раз и напоминает некий гигантский компьютер с его жесткой, одномерной и неповоротливой системой. С другой стороны, компьютеры можно сравнить с подданными такого государства, солдатами, которые отлично вымуштрованы и готовы беспрекословно выполнять команды, но не способны ни к какой самостоятельной инициативе. Поэтому, если говорить теоретически, то компьютерный подход к жизни, основанный на стремлении ввести в программу все ее многообразие, куда более близок тоталитарным странам, нежели демократическим. Другое дело, что хроническое отставание экономики этих стран и их неспособность наладить производство ЭВМ, пока не может вывести этот вопрос за рамки теории.

Так или иначе, говоря о будущем электронно-вычислительных машин, я бы хотел проявить осторожность. Это не значит, что компьютеру навечно уготована роль низшего существа. Я сомневаюсь лишь в том, что в силу специфики своего мышления он когда-нибудь встанет вровень с мыслящим человеком. Но с другой стороны, можно предположить, что когда-то по своим возможностям он приблизится к человеку. И по-видимому, процесс этот будет как бы взаимным, то есть и человек начнет все больше походить на компьютер, вырабатывая в себе элементы одномерного компьютерного сознания. Иначе говоря, речь пойдет о конвергенции человека и вычислительной машины. Как это можно себе представить?

Есть известное наблюдение, что люди, оказавшиеся в чужой этнической среде, начинают уподобляться ее представителям. Более того, есть даже наблюдения, что собаки, живущие по многу лет у одних и тех же людей, чем-то становятся на них похожи. И наоборот, сами эти люди начинают по-своему напоминать живущих у них четвероногих. Так вот, чисто

теоретически можно предсказать даже характеристики людей, которые окажутся в мире компьютеров. Они как бы станут частью этого мира, где компьютерные ценности превратятся в реальные ценности их жизни. Люди начнут вживаться в эту жизнь, а компьютеры постепенно превращаться в их идолов, своего рода божков.

Похоже, что уже сегодня мы видим первые признаки этого довольно любопытного процесса — персональные компьютеры (кратко именуемые РС) действительно превращаются в своеобразных домашних идолов. Они не просто помогают решать какие-то технические задачи или, скажем, составлять налоговые декларации. Некоторым людям доставляет все большее удовольствие просто с ними общаться. Появляются компьютеры-шахматисты, компьютеры-астрологи, готовые взяться за предсказание вашей судьбы. Все чаще компьютеры не только вас выслушивают, но и отвечают вам. Не случайно в обиход вошло выражение "поиграть с компьютером", что как раз и означает вступить с ним в некий интимный контакт.

Если этот процесс продолжится, то совсем не исключено, что как раз и произойдет то, о чем я говорил выше, то есть человек начнет походить на компьютер. У него появится тяга к быстрой мысли. Подобно компьютеру, он захочет любые задачи решать молниеносно, вместо того, чтобы поразмыслить, поискать другое, более умное решение. Не получится молниеносно — и не надо: компьютер, как известно, не топчется в нерешительности перед трудностями. Но это значит, что появится опасность того, что человеческое мышление станет более линейным, более формальным и даже примитивным. Из этого мышления начнет исчезать его высшее качество — параллельность, ассоциативность, способность к алогичному внутреннему озарению.

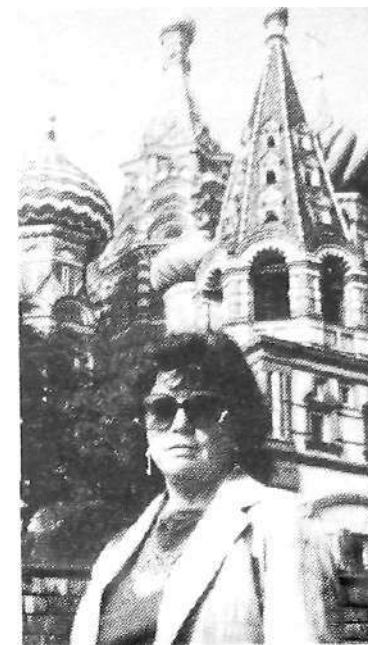
Если пойти в нашем прогнозе дальше, то можно допустить, что компьютеры станут новой религией, к которой люди будут обращаться в тяжелые минуты и которая станет своего рода пристанищем для личности. Отвергнутый девушкой юноша идет за помощью к компьютеру. Кому-то он помогает

найти достойную пару, он утешает в горе, занимается сватовством, разводами, словом, пытается отвечать на множество запросов личности.

Естественно, люди станут менее социальными. Компьютеры заменят им друзей и близких. Но все это значит, что и сам человек с его потребностями должен стать достаточно примитивен, чтобы компьютер при его одномерном мышлении оказался способным удовлетворить всю гамму человеческих запросов.

Разумеется, я имею в виду лишь один пессимистический шанс развития. Но, если он реализуется, мы неминуемо станем свидетелями вырождения человеческого рода.

Остается лишь надеяться, что этого не произойдет и человек останется самим собой, а компьютеры будут послушно выполнять его приказы и сделают его жизнь во всех отношениях более приятной.



Вера ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ

МОСКВА: СЕНТЯБРЬ 1985-го

Всякий раз, когда я приезжаю в Москву и выхожу из гостиницы "Интурист", где обычно живу, я невольно ловлю себя на желании увидеть что-то новое.

Увиденное я невольно сравниваю с тем, что было в последний раз и снова понимаю, насколько мне безразлична Россия. Возможно, это в силу моего происхождения, о котором я хотела бы сказать несколько слов.

Дед мой адмирал Роберт фон Вирен, был последним военным комендантом Кронштадта и первой жертвой февральской революции: 29 февраля 1917 года его зверски растерзали восставшие матросы. Дядя был крестником великого князя Георгия Александровича Романова, другой дядя в годы февральской революции служил военно-морским атташе России в Вашингтоне. Бабушка — урожденная Третьякова-Морозова вела свой род от боярыни Морозовой. Мама закончила Смольный институт в Ново-Черкасске и по сей день считает себя настоящей смолянкой.

В СССР я езжу довольно часто, как американская славистка и специалист по русским делам, встречаюсь со многими из своих коллег. В Москве знают о моем происхождении и, к слову скажу, что когда в 1967 году я впервые туда приехала, то, кажется, в "Литературке" появилась статья под многозначительным заголовком "Мы из Кронштадта". В статье рассказывалось о том, как 50 лет назад революционные кронштадтские моряки казнили "кровавую имперскую собаку" барона фон Вирена.

С тех пор я не раз бывала в Советском Союзе, и вот теперь, самый последний раз, в сентябре 1985 года, опять поселившись в "Интуристе" и, выйдя, по обыкновению, на улицу Горького, я задала себе все тот же вопрос: "А что изменилось по сравнению с моим последним приездом?"

Начну с того, что довольно часто отмечают иностранцы: это настроение москвичей и вообще советских граждан. Почти все, кто еще недавно возвращался из СССР, отмечали раздраженность людей, их озлобленность, общую усталость, хамство на улицах и, особенно, в магазинах и очередях.

На этот раз мне показалось, что москвичи как бы оттаяли, помягчели, стали намного дружелюбнее.

Приходит на память сценка в вестибюле "Интуриста": к прилавку "Березки" подошел человек, по-видимому, командировочный из Грузии, может быть, из Армении. Попытался что-то купить, последовал ответ продавщицы, что тут продается только за валюту. Командировочный, разумеется, возмутился, повысил голос: где он, в конце концов — в СССР или в Америке? Почему у него не принимают советских денег. Ситуация столь привычная советским людям. В прошлом я и сама была не раз свидетельницей таких сцен. Но чем они кончались? Скандалами. Презрительными окриками продавщиц: де суетесь со своими рублями в "Березку"! Эта же была удивительно вежлива и терпелива. Она словно бы понимала негодование этого человека и всем своим видом говорила, что она с ним согласна, но просто не в ее власти ему помочь.

Большее дружелюбие я неизменно наблюдала у таксистов, буфетчиц, у ресторанных официантов, словом, в той самой советской сфере обслуживания, где если верить даже советским газетам, извечно процветали хамство и грубость.

Один из иностранных журналистов по этому поводу пошутил, что сверху спущена директива — не хамить и быть друг с другом вежливыми. Думаю, что тут дело в другом: с приходом к власти нового руководства у советских людей появилась надежда. Другое дело, оправдается она или нет, но надежда эта живет.

Прежде чем перейти к своим московским встречам, которых у меня было несколько, я бы хотела сказать еще об одном явлении, которое бросилось мне в глаза, — о вспыхнувшей у людей тяге к религии.

Я не рискнула бы вот так, наскоро, давать какое-то глубокое объяснение этому явлению. Скажу лишь о том, чему сама была свидетельницей. Во время своего последнего пребывания в Москве я трижды была на воскресных службах, точнее, в трех церквях и один раз в понедельник на патриаршей службе, посвященной именинам патриарха Пимена. Эта служба продолжалась с девяти до часу дня, и почти четыре часа я, как и масса других прихожан, простояла на ногах. Ни в одной из стран Запада я не видела такого скопления верующих и такой торжественной службы, как в этот понедельник в честь патриарха Пимена.

Раньше церкви даже по воскресеньям оставались полупустыми. Обычно приходили лишь старухи, дети.

Теперь меня поразил поистине массовый наплыв молодежи, да, по существу, людей всех возрастов. Похоже, что правительство не препятствует росту этой тяги к религии, а может быть, даже способствует ей.

Что касается встреч, — то я хотела бы начать с экскурсии по Москве-реке на теплоходе "Максим Горький". Поездку эту финансировал греческий корреспондент — судя по всему, человек очень богатый. Это была с большим шиком обставленная встреча на воде представителей московской элиты с иностранными корреспондентами. На пароходе работал рес-

торан, играл оркестр, рекой лилось шампанское, — словом, пир во время чумы.

Трудно было отрешиться от мысли, что все это проходило в стране, сотрясаемой экономическим кризисом, где люди и по сей день не имеют самого необходимого для нормальной жизни. Но и во время этого праздника многие из его участников — очень известные писатели, художники — не уставали говорить о возможных переменах, пили за эти перемены, вслух мечтали о них. Там я, в частности, познакомилась с Саввой Кулишом, директором Мосфильма. Позже он меня много возил по Москве, мы говорили о кино. Он, как и другие, высказывал надежду на то, что в советской кинематографии наступят перемены: жить станет лучше, жить станет веселее, — смеялся он, по-видимому, тому, что эту знаменитую фразу пока что приходится относить к будущему.

Вообще, круг моих встреч в Москве был весьма широк: академик Костомаров, виднейший специалист в области русского языка (с которым нас уже давно связывают общие профессиональные интересы), Иосиф Голдин, специалист в области космических исследований, знаменитая московская исцелительница Иона, лечившая Брежнева (меня привез к ней, на улицу Чайковского все тот же Савва Кулиш), уже упомянутый мной патриарх Пимен и, наконец, небезывестный Виктор Луи, с которым я провела несколько часов на его подмосковной даче.

Я не буду касаться его официального и неофициального статуса, о котором много пишут на Западе, подчеркивая, что в своих статьях он часто выражает точку зрения правящих советских кругов. Я бы хотела лишь рассказать, какое впечатление произвел на меня этот человек. Так вот, на машине меня привезли на его подмосковную дачу, расположенную неподалеку от писательского поселка Переделкино. Думаю, что мало кто из писателей имеет дачу, подобную той, какой владеет Виктор Луи. На ее живописной территории мне прежде всего бросились в глаза большие статуи Эрнста Неизвестного, в гараже стояло несколько машин, одна из которых была Ролс-Ройс, в доме, построенном в современном стиле,

стояли компьютеры, была тут ценнейшая коллекция подлинных икон...

Надо сказать, что сам Виктор Луи, оказавшийся человеком лет пятидесяти, чрезвычайно скромно одетым (так что на нью-йоркской улице я бы вообще не обратила на него внимания), с первой же минуты старался держаться таким своим парнем, с которым можно откровенно говорить буквально обо всем.

Я пробыла у него на даче несколько часов, и мы, действительно, затронули массу тем: Запад — Восток, еврейский вопрос, Сахаров, Елена Боннер, Неизвестный, Евтушенко, эмиграция... Держался он вроде бы просто, но вести с ним беседу было чрезвычайно трудно — в какой-то момент я почувствовала, что наш разговор подобен шахматной игре, где над каждым ходом надо ломать голову, чтобы не попасть впросак. Он часто задавал риторические вопросы — и делал это лишь затем, чтобы вовлечь меня в какую-то острую дискуссию, его не интересовал ответ как таковой, а скорее некая попутная информация, которую он, видимо, хотел получить. Безусловно, он очень умный человек, но сказать, что он умный или, скажем, хитрый, явно недостаточно. Пожалуй, для его характеристики лучше всего подходит английское слово "shrewd" — то есть человек чрезвычайно изощренный, ловкого и быстрого ума.

Вот он заговорил о Неизвестном, сказал, что давно с ним знаком, что это очень талантливый художник и что он был у него в Нью-Йорке. Потом стал сожалеть, что Неизвестный уехал на Запад, говорил, что в СССР ему было лучше. Казалось, что общие темы его мало интересуют, и на все вопросы у него здесь есть готовые ответы. Отношения СССР—США? Все зависит от Соединенных Штатов, от психологического климата в этой стране. Жизнь в Америке? Конечно, в чем-то, может быть, там рай, но не всем в этом раю хорошо. От политики Соединенных Штатов он неожиданно перешел к теме антисемитизма, что де из США раздаются нелепые обвинения советского правительства в антисемитизме. Тогда как совершенно очевидно, что в СССР никакого антисемитизма нет.

Вообще, еврейский вопрос был болевой точкой всех его высказываний. Свобода эмиграции? Но ведь евреи не хотят ехать в Израиль, а едут в Соединенные Штаты. Многим там плохо, и некоторые даже с удовольствием вернулись бы, но боятся.

Сахаров? О! С Сахаровым они довольно часто встречаются и через неделю он снова едет к нему. Сам Сахаров — хороший, спокойный человек, много работает, но все портит его жена — Елена Боннер, которая не устает скулить и жаловаться. Он не сказал: все это потому, что она еврейка. Но из контекста это не так уж трудно было понять.

В разгар нашей беседы он заговорил о себе и сообщил, что семь (или даже, кажется, тринадцать лет) провел в ГУЛАГе. Затем показал мне альбом. У него и на этот случай были интересные снимки. Потом без всякой связи с предыдущим сказал: "Ходят слухи, что я — еврей, но это неправда, по-моему, мои предки были французы". Похоже, что еврейская тема не давала ему покоя, и он сам не замечал, как сползал на антиеврейские разговоры. И тут я не могла смолчать, я сказала, что еврейский народ в течение двух тысяч лет подвергался гонениям и даже сейчас, когда у него появилась своя страна, свой клочок земли, его не оставляют в покое, ввергают в войны. Я сказала, что евреи дали миру трех самых великих людей двадцатого века — Эйнштейна, Фрейда и Маркса. Он согласился со мной. Но без особого энтузиазма, просто сказал: "Да, да, это верно!"

Я попросила Виктора Луи высказать свое мнение о Горбачеве. Он ответил, что это человек совершенно нового поколения, не имеющий ничего общего с Хрущевым и его предшественниками. Теперь я в свою очередь согласилась с ним, но заметила: неизвестно, как поведет себя новый лидер, не будет ли он более жестоким? Он смолчал. И вдруг совершенно неожиданно воскликнул: "А вы, между прочим, очень похожи на его жену! Так что если бы мы стояли у кремлевской стены и я брал бы у вас интервью — все решили бы, что я беру интервью у нее."

Вообще же беседу он вел очень странно. Согласится с чем-

то и тут же это отрицает. Так что понять его точку зрения было просто невозможно.

Мы заговорили о Евтушенко. Чувствовалось, что он очень симпатизирует Евтушенко, который в свою очередь настолько тепло относился к Виктору Луи, что в день его свадьбы посвятил ему специальное стихотворение.

Несколько раз в комнату входила жена Виктора Луи. Это была симпатичная англичанка, лет сорока. Она о чем-то спрашивала его, он отвечал. Большую часть времени мы провели у него в кабинете и говорили по-русски. С женой и сыном (кажется, лет двадцати, двадцати одного) он говорил по-английски. Его жена очень высоко отзывалась о Маргарет Тэтчер за то, что та позволила их сыну учиться в Оксфорде.

Обратно они отвозили меня вместе с женой в своем Ролс-Ройсе. В машине он болтал о всякой всячине, старался быть милым, обещал помочь в моей работе над новой книгой о Пушкине, тепло говорил о многих американцах. Чувствовалось, что ему очень хотелось запечатлеться в моей памяти все тем же свойским рубахой-парнем, каким он старался казаться с первой минуты и каким ему отнюдь не всегда удавалось быть в этот день.

Но не встречей с Виктором Луи мне хочется закончить эти заметки. Покидая СССР, я перебирала в памяти увиденное и спрашивала себя: действительно ли в эту страну приходят перемены или все это лишь плод моего страстного желания ее видеть другой. Мысль моя обращалась к будущему. Вот приеду я снова в Москву и снова выйду на улицу Горького из гостиницы "Интурист". Что за картина откроется мне? Как будут выглядеть и чувствовать себя люди? Я не думаю, что это будет другая страна и не надо себя тешить иллюзиями, что начнет она жить по западным образцам. У России собственная судьба. Но я думаю, что какой бы эта судьба ни была, русский народ имеет право на свободную и достойную жизнь. И я молю Бога, чтобы эта жизнь пришла в Россию и сбылись мечты моих многих друзей. И я искренне надеюсь, что Женевская конференция, откуда я только что вернулась, по-своему тут поможет.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Уважаемая редакция!

С большим интересом читаю ваш журнал. Возможно, что и вы проявите некоторый интерес к моей критике теории Владимира Лефевра. Исходные положения и выводы его теории настолько серьезны (разделенность человечества естественна и непреодолима), что ваше решение продолжить дискуссию представляется весьма разумным.

Моя критика, как и теория Лефевра, основана на логике, хотя и не в ее математической форме. Разница, однако, в том, что я отталкиваюсь от строго проверенных экспериментальных, статистических или документальных данных, а не от результатов опросов, как поступил Лефевр. Я привел убедительный пример (и мог бы привести больше), насколько ненадежными бывают такие результаты.

Помимо принципиальной важности, моя критика приоткрывает интереснейший мир современной психологии, которую я очень люблю и изучаю уже давно.

Хоть мы и живем в свободном мире со свободной прессой, я почти уверен, что вы не напечатаете мои заметки. Прошу вас все же в этом случае сообщить мне ваше мнение о них, а сам текст переслать В. Лефевру.

Хочу в конце напомнить вам высказывание А. Сахарова: "разделенность человечества угрожает ему гибелью". Надо ли усугублять эту разделенность?

*Александр Фин
Торонто*

ОТ РЕДАКЦИИ. Ниже вниманию читателей предлагается полный текст статьи Александра Фина.

Александр ФИН

ЕЩЕ РАЗ ОБ "АЛГЕБРЕ СОВЕСТИ"

Из теории В. Лефевра ("Время и мы", № 79), а также из статьи П. Болдырева (№82) вытекает заманчиво простое объяснение конфронтации сверхдержав. Источник глобального конфликта таится в абсолютной противоположности двух этических и, соответственно, политических систем: западной (христианской) и советской. В первой системе доминируют личности последовательно стремящиеся к компромиссам; во второй преобладают индивиды с отчетливой тенденцией к конфликтам. В несовместимости этических императивов автор усматривает "гигантскую трагедию человечества".

Слабость такого объяснения начинает проявляться как только мы зададим простой вопрос: а была ли западная культура бесконфликтной в досоветскую эпоху? Увы, вся более или менее известная нам часть истории человечества — это история войн, то есть разрешение конфронтации, причем огромное количество человеческих жертв вызвано войнами в рамках западной цивилизации.

Сью Мэнсфилд, американский военный историк, недавно отметила парадоксальный, с ее точки зрения факт: "христианская культура одновременно является более пацифистской в теории и более насильственной на практике, чем любая другая

существующая культура".* Феномен нацизма показал, что западная цивилизация способна породить системы ничуть не лучшие в этическом смысле, чем советская, даже в ее сталинском варианте.

В.Лефевр мог бы возразить, что прошлое играет второстепенную роль, главное — объяснить современную ситуацию. Хотя хорошая теория должна удовлетворительно описывать как настоящие так и прошлые события (чтобы в итоге хоть приблизительно предсказать будущее), коснемся фактов послевоенного периода.

По теории Лефевра СССР в эти годы, если не все время, то, по крайней мере, чаще, чем США, стремился к конфликтам. По заданию Пентагона в 1976 году были проведены исследования конфликтов, в которые были вовлечены США или СССР. Определение конфликта было четким: любое использование вооруженных сил в политических целях за рубежом. Оказалось, что в 1945-1975 годах таких конфликтов по инициативе или с участием СССР произошло 115, а с участием или по инициативе США — 215.** Даже если допустить, что США применяют силу только в ответ на агрессивные шаги противника, возникает вопрос: почему ответов на агрессию было почти вдвое больше, чем можно ожидать?***

Гораздо более логичной и объективной мне лично кажется теория Бремера.**** Бремер предположил, что стремление к конфликтам или агрессивность любого государства пропор-

* War as the Ultimate Therapy, - Psychology Today, June, 1982.

** Pious S., Zimbardo P. The Loojing Glass War, — Psychology Today, November, 1984.

*** На наш взгляд, подобное исследование мало о чем говорит, ибо в нем ставится знак равенства, например, между советской агрессией в Чехословакию и мелкими пограничными инцидентами со стороны американцев (ред.).

**** Singer D., editor, Correlates of War: II, — The Free Press. New York, 1980

циональна его "силе", или совокупному политическому, экономическому и военному потенциалу. Статистика войн девятнадцатого-двадцатого веков замечательно согласуется с этим простым допущением. Из теории вытекает, что агрессивность, как правило, слабо связана с той или иной моралью, религией или идеологией как таковыми. Парадокс, отмеченный С.Мэнсфилд, получает объяснение: жестокость войн в пределах западной цивилизации не связана с христианской этикой, просто страны Запада в экономическом и военном отношении были самыми развитыми, т.е. самыми агрессивными. Теория Бремера настолько точна, что отражает факт совокупного превосходства США над СССР после 1945 года (см. вышеприведенные данные о сравнительном количестве конфликтов) и даже могла бы предсказать рост агрессивности СССР в 70-х годах, когда это превосходство перестало быть значительным.

Эмпирические данные, собранные Лефевром, тоже заслуживают критики. Бывшим советским гражданам было предложено отвечать на вопросы так, как они бы отвечали на них, будучи гражданами СССР. Не всегда легко разобраться в чувствах и оценках, а тут к тому же надо было представлять, что за чувства преобладали несколько лет назад. И хотя, по мнению Лефевра, этические системы усваиваются людьми с детства и действуют в сознании автоматически, не был ли этот явно ненаучный прием излишним? Но как бы там ни было, представим себе, что этические нормы и оценки русских и американцев действительно резко отличаются. Как могла бы объяснить этот факт современная психология?

Еще в 1950 г. Теодор Адорно с сотрудниками подробно описали феномен так называемой "авторитарной личности".* Такая личность совмещает преклонение перед вышестоящими с презрением и недоверием к нижестоящим. Человек авторитарного типа обладает "черно-белым" восприятием мира и склонен разрешать любые проблемы — простые и сложные — с

* Adorno T.,W. et al., — The Authoritarian Personality, New York, 1950.

помощью силы. Такой человек всегда полон отрицательных чувств — к интеллигентам, либералам, евреям, женщинам, неграм, гомосексуалистам, китайцам, иммигрантам. Он, как правило, сторонник крутых мер, репрессий и смертной казни. Как фашизм, так и сталинизм были воплощениями авторитарных идеалов, однако фашизм был разгромлен, а сталинизм мирно трансформировался в современный советский режим. Из этого можно сделать вывод, что вполне вероятно, что авторитарный тип мышления более распространен среди советских, чем среди американских граждан.

Если авторитарная личность изучена достаточно хорошо, то об ее антиподе — демократической, либеральной или интеллигентной личности мы знаем гораздо меньше. Даже общепринятого названия такой личности пока нет. Одно можно предположить: как минимум такая личность будет воздерживаться от причинения нравственного или физического вреда другим людям без провокации со стороны последних. Я намеренно избегаю формулировки христианского принципа терпимости к врагам и ограничиваюсь опять-таки христианским, но более легким "золотым правилом".

Согласно Лефевру, люди, удовлетворяющие столь скромному требованию, должны не то что доминировать, но абсолютно преобладать в Западном мире. На деле, однако, все обстоит не так. Шестьдесят два процента испытуемых, не задумываясь нажимали на кнопку, посылающую другому человеку удар тока от 15 до 450 вольт. Этот другой человек находился за стеной, но его стоны, крики и даже удары ногой в стену испытуемые прекрасно слышали, но это их не останавливало. (На самом деле, разумеется, все эти выражения боли были симулированы.) *

Упомянутый эксперимент Стэнли Милгрэма не является единственным в своем роде. Филипп Зимбардо тоже интересовался поведением людей в различных ситуациях; он тща-

* Meyer P., If Hitler Asked You to Electrocute a Stranger, Would You? Probably, — Esquire, February, 1970

тельно подобрал 20 физически и психически здоровых интеллигентных молодых американцев и распределил их по закону случая в две группы: "заключенных" и "надзирателей". В подвале одного из зданий Стэнфордского университета была оборудована "тюрьма". Никаких особых инструкций "надзиратели" не получили, кроме общего указания поддерживать "закон и порядок". Неожиданно быстро надзиратели вошли в предписанную им роль; они начали издеваться над заключенными, проявляя при этом находчивость и изобретательность. Было очевидно, что они в полной мере наслаждались полученной на время властью. У половины заключенных развился настолько серьезный невроз, что эксперимент пришлось прервать раньше времени — на шестой день после его начала.*

Отметим, что в обоих экспериментах отсутствовал сколь-нибудь заметный конфликт между целью и средствами. Люди попросту вели себя ужасно — без малейшей угрозы наказания и без ожидания награды. Наличие любого из этих стимулов могло бы, скорее всего, только ухудшить наблюдаемое поведение.

Для тех, кто с недоверием относится к экспериментам, можно привести еще более впечатляющие примеры из живой жизни. В 1964 году Китти Джиновизе была убита рядом со своим домом в Кью Гарденс (Нью-Йорк). Поскольку Китти сопротивлялась, убийство длилось около получаса. Тридцать восемь соседей наблюдали за происходящим, но ни один не вмешался и даже не позвонил в полицию. Пример классический, но аналогичных немало.**

* Zimbardo P.G.. Pathology of Imprisonment, — Society. vol.9, N06, 1972.

Из неопубликованных данных, известно, что подобный эксперимент был проведен на факультете психологии ЛГУ. Результаты его совпали с американским экспериментом и его так же пришлось прекратить. Ленинградский эксперимент привел буквально в шоковое состояние экспериментаторов еще и потому, что один из его участников студент-"надсмотрщик", вошедший в роль, спустя несколько дней ужаснулся этой роли и подробно описал свое состояние в дневнике. Думается, что этот мальчик — исключение из общего правила. (Примеч. ред.).

** См: Darley J., Latane B., When will People Help in a Crisis, — Psychology Today, September 1968.

В отличие от экспериментов упомянутых выше, убийство Китти демонстрирует пример абсолютно аморального поведения: ведь хуже вести себя просто невозможно. Мы вряд ли преувеличим, сказав, что тридцать восемь соседей Китти были соучастниками ее убийства.

А как теория Лефевра описывает такое поведение? В "Алгебре совести" приводится подробная классификация индивидов, этических систем и типов поведения.* Тип личности мы можем определить без труда. Молчаливый свидетель убийства, уж конечно, не является "святым", "героем" или "лицемером"; остается только четвертый тип: "обыватель".

Однако в первой этической системе (западной) "обыватель" обязан быть "агрессивным и стремиться к конфликту с партнером", имея при этом в виду, что цель не оправдывает средства. Для тридцати восьми граждан Нью-Йорка почти точно подходит противоположное определение "обывателя": "неагрессивный, стремящийся к компромиссу с партнером; имеющий низкий уровень самоуважения"; считающий, что цель оправдывает средства. (В нашем случае целью является избежание риска для жизни и здоровья, а средством — невмешательство.) Именно такой "обыватель", по Лефевру, и есть типичный представитель второй (советской) этической системы, что еще раз подчеркивается автором в предисловии на странице XXIII. По мнению Лефевра, и на Западе, и в СССР присутствуют обе этические системы; речь идет только о том, какая из них доминирует. Но допустим даже, что первая система не доминирует, а просто присутствует на Западе и, по крайней мере, десять процентов граждан принадлежат к ней. Тогда, среднестатистически, среди тридцати восьми граждан должны были найтись три-четыре человека, если не вмешавшихся, то хотя бы известивших полицию. Не нашлось ни одного...

Как правило, мы абсолютно не сознаем, насколько мощным является влияние предписанных ролей и ситуационных

* Lefebvre V., Algebra of Conscience, D.Reidel, 1982, p.63.

факторов. В результате мы считаем себя гораздо лучше в моральном смысле, чем мы есть на самом деле. Эллиот Аронсон, известный американский психолог, потрясенный результатами С.Милгрэма, на протяжении многих лет задавал студентам, начинающим изучать курс социальной психологии, один и тот же вопрос: посылали бы они удар тока от 15 до 450 вольт по требованию экспериментатора, слыша вопли и протесты получающего этот удар тока? И ежегодно около 99-ти процентов студентов искренне и решительно отвечали "нет".* Помимо исключительной научной ценности, установленная закономерность предупреждает любого ученого, что к результатам опросов, особенно содержащих моральные оценки и самооценки, надо относиться очень осторожно.

Меньше всего мне хочется очернить западную цивилизацию. Одной из величайших ее ценностей, однако, является способность честно и объективно смотреть истине в глаза. А истина такова, что события, подобные убийству Китти, не исключение. Конечно, известны и другие примеры, когда вмешательство посторонних предотвращало насилие или убийство. Однако оба варианта возможны как на Западе, так и в СССР, и определяются факторами, не связанными с той или иной этической системой. Как показали исследования, вероятность того, что в толпе присутствует герой, пытающийся остановить преступника, тем больше, чем меньше город, где происходит событие. Физическая сила, агрессивность, опыт работы в полиции, армии или спортивные данные часто характеризуют личность героя.**

Значительные различия между западной и советской системами имеют свои исторические, культурные и идеологические причины. Но уже на глазах наших современников

* Aronson E , The Social Animal, W.H. Freeman, 1980, p.36.

** Rushton J.P., Urban Density and Altruism, — Psychological Reports, 43, 1978; Scheiber E., Bystander Intervention* in Situations of Violence, — Psychological Reports, 45, 1979.

эти различия стали гораздо менее резкими, и это вполне естественно, так как в биологическом и психологическом плане все люди гораздо более сходны, чем различны.

Приведенные выше факты не подтверждают существование двух абсолютно противоположных этических систем. "Арифметика" истории, политики и конкретного поведения в экспериментальных и жизненных ситуациях противоречит предложенной Владимиром Лефевром "алгебре" этики.

Сентябрь 1985

Торонто

А.И.РУБИН
СТАТЬИ О РУССКИХ ПОЭТАХ.
Из философского дневника

Издательство "Лексикон". Иерусалим
180 стр. Цена — 5 дол. с пересылкой

Автор (1888-1961) был философом и большим знатоком русской литературы и поэзии. Поскольку его взгляды не совпадали с официальной советской идеологией, его работы не могли быть напечатаны в СССР.

В сборник включены статьи о поэзии Пушкина, Тютчева, Лермонтова и Баратынского, статья "Что такое философия" и отрывки из философского дневника.

Сборник открывается биографическим очерком об А.И.Рубине, написанном его сыном Виталием (1923-1981)

Заказы направлять по адресу:

J.Rubin. Gilo, 62-15 Jerusalem 03756. Israel

АНДРЕЮ СИНЯВСКОМУ — 60 ЛЕТ

Поздравляя Андрея Синявского, поздравляешь не только замечательного писателя, но и одного из самых светлых людей нашей эмиграции. То, что Синявский человек светлый, вероятно, не будут оспаривать даже его враги. Но мы в день его шестидесятилетия хотим о нем сказать прежде всего как о писателе, притом как о писателе ярком и необычном.

Да, Андрей Синявский — русский литератор и русский человек. Но примечательно то, что понимание свободы, своего писательского и человеческого долга лишено у него какой бы то ни было националистической окраски. И потому он, будучи русским писателем, принадлежит в то же время и мировой культуре с ее лучшими гуманистическими традициями.

Есть у писателя Синявского и второе имя — Абрам Терц. Терц — еврей и, стало быть, в каком-то смысле изгой. Он живет везде — и нигде, как и приличествует поэту. И шапочке академика часто предпочитает желтую кофту. Рукой Синявского Терц написал много книг: о Пушкине, о Гоголе, да и о самом Синявском. Книги неакадемические, насмешливые, порой эпатирующие. Но согласимся с тем, что появление каждой из них — это всегда событие. Оно волнует, будоражит мысль, враги Синявского-Терца хватаются за шпаги. Но нет у этих книг равнодушных. И это, наверное, то, что нам более всего нравится в них обоих — и в Синявском, и в Терце.

Мы приветствуем Андрея Синявского и желаем ему свершения всего задуманного. Мы желаем ему новых книг, волнующих читателя, Ведь читательское волнение — оно так важно для любого писателя. И Синявский всегда его находил, будучи автором нашего журнала, и всегда найдет его снова, когда выступит на наших страницах.

"ГОВОРЯТ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ АМЕРИКИ"

С этого номера мы решили ввести в журнале новую рубрику "Говорят выдающиеся люди Америки". Под этой рубрикой редакция намерена предоставлять слово наиболее крупным американским писателям, ученым, политическим деятелям, которые будут высказывать свою точку зрения на наиболее острые, сложные и парадоксальные проблемы современности.

Первым дает нам интервью редактор журнала "Комментарии" Норман Подгорец. Издаваемый Американским еврейским комитетом, "Комментарии", которому исполняется в этом году сорок лет, стал одним из наиболее популярных и авторитетных журналов американской интеллигенции, а Норман Подгорец — один из самых выдающихся писателей и интеллектуалов сегодняшней Америки.

Тема его интервью "Евреи в современном мире" — охватывает широкий круг сложных и острых вопросов, связанных с ассимиляцией еврейства, с современными формами антисемитизма, с отношениями Израиля и американского еврейства, с проблемой двойной лояльности, с будущим евреев и т.д.

В этом же номере на вопросы журнала "Время и мы" отвечает выдающийся американский экономист, лауреат Нобелевской премии Мильтон Фридман. В своем интервью, озаглавленном "Правительства против свободного рынка", он развивает мысли, впервые высказанные им в книге "Капитализм и свобода". Ученый показывает, как правительственное регулирование экономической деятельности становится средоточием социализма во всех странах, как система централизованного планирования в тоталитарных государствах является главным тормозом развития экономики и политического раскрепощения народов этих стран.

Редакция уверена, что выступления на страницах журнала выдающихся людей Америки поднимет авторитет нашего демократического издания и вызовет к нему больший интерес как у западных читателей, так и у тех, кто живет по ту сторону железного занавеса.



Норман ПОДГОРЕЦ

ЕВРЕИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

"ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРИТВОРИТЬСЯ, ЧТО ВЫ НЕ ЕВРЕИ, ИЛИ ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ ВЕРУ, ВАМ ВСЕ ВРЕМЯ ПРИДЕТСЯ ВЕСТИ БОРЬБУ СО СВОИМ ЕВРЕЙСТВОМ. СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО, НО ЭТО СВОЕГО РОДА ДУХОВНОЕ НАСИЛИЕ НАД САМИМ СОБОЙ", — СКАЗАЛ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА "КОММЕНТАРИИ" НОРМАН ПОДГОРЕЦ В БЕСЕДЕ С ВИКТОРОМ ПЕРЕЛЬМАНОМ. НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭТОЙ БЕСЕДЫ.

Виктор Перельман. Не кажется ли вам, что после появления государства Израиль экзистенциально судьба евреев мало изменилась к лучшему. Израиль выглядит как истощенное войнами и экономическими потрясениями маленькое государство. В диаспоре, правда, нет больше погромов. Зато бушует антиеврейский террор. К кому вы себя причисляете — к оптимистам или пессимистам? Считаете ли вы, что наступит все-таки день, когда евреи скажут: "Вот теперь нам во всех отношениях уютно на этой планете"?

Норман Подгорец. Нет, я не думаю, что когда-нибудь наступит день, когда евреи смогут сказать: "Нам на этой планете во всех отношениях уютно". Я полагаю, что такая уж у евреев судьба — жить неудобно и небезопасно. Не знаю, почему так происходит, но такой вывод подсказывает мне весь исторический опыт. В истории — и уж во всяком

случае за последние две тысячи лет — не было периода, когда евреи чувствовали бы себя в полной безопасности или достаточно удобно. Из всех еврейских общин в диаспоре безопаснее всего, пожалуй, ощущала себя американская община в 50-х годах, которые я назвал бы "золотым веком еврейской безопасности". Именно безопасности, а не культуры. Золотой век еврейской культуры был в средневековой Испании. Но этот "век" еврейской безопасности в Америке длился всего лет десять.

Я бы не сказал, что сейчас над американскими евреями нависла какая-то опасность. Но нет уже той атмосферы 50-х годов, когда евреи были окружены дружелюбием и приветливостью.

Виктор Перельман. А почему атмосфера в Соединенных Штатах в этом смысле изменилась?

Норман Подгорец. Это долгий разговор. Чтобы понять, почему был этот "золотой век еврейской безопасности", нужно принять во внимание воздействие Катастрофы, которая принесла американцам понимание того, что даже самые "учтивые" формы антисемитизма могут привести к убийству. На открытое выражение враждебности к евреям налагалось своего рода негласное табу, и это табу соблюдалось в общественной жизни.

В то же самое время в американском обществе наблюдалась тенденция к большей терпимости. Причем не только в отношении евреев, но и других меньшинств. От старой ассимиляторской концепции "плавильного котла" мы двигались в сторону нового плюрализма. Евреи были самым первым и самым заметным меньшинством, выигравшим от этой новой идеологии, при которой старое представление, что все группы должны сливаться в общую культуру, заменилось верой в то, что если они сохраняют свое национальное или религиозное своеобразие, то обществу в целом это пойдет только на пользу.

Положение начало изменяться в 1967 году. Я уже тогда думал, что для некоторых израильская победа в Шестидневной войне в каком-то смысле должна стереть из памяти Катастрофу, что для этих людей на Катастрофу как бы истечет срок давности. В результате — находившийся под спудом ан-

тисемитизм, который, конечно, не исчез полностью, снова начал поднимать голову. Табу, которое я упомянул, мешало выражать его открыто, но он никуда не делся и стал вылезать с неожиданной стороны — слева, а не справа, откуда его ожидали, а также под личиной негритянского радикализма. Негры были еще более угнетенным меньшинством, и им позволялось говорить вещи и выказывать настроения, которые ни одной другой группе не спустили бы. Чувствовалось, как с этого черного хода — через левых, через негров — просачивается наружу и выходит на поверхность враждебность к евреям, которая прежде была как бы в подсознании. Все это, разумеется, усугублялось изменениями, происходившими в международных левых кругах. Я имею в виду их отношение к Израилю и к евреям вообще. Конечно, большую роль тут сыграла и советская пропаганда, но не только советская. Лезла наружу враждебность к Израилю, связанная с отношением левых всех стран, в том числе и Соединенных Штатов, к странам "третьего мира". Вот эти факторы, среди прочих, и способствовали изменению климата.

В конце 1960-х годов это изменение было незаметным, но потом оно углубилось. Так что, например, когда в 1967 году я впервые услышал, как израильтяне сравнивают с нацистами, я был настолько ошеломлен, что не верил своим ушам, а пятнадцать лет спустя, во время Ливанской войны, это превратилось почти что в штамп. На такое сравнение можно было наткнуться даже в уважаемых изданиях.

Виктор Перельман. Не составляет труда заметить, что из года в год парадоксальным образом углубляется разрыв между Израилем и евреями диаспоры. В Израиле растет глухое раздражение из-за того, что, например, американские евреи не хотят туда переезжать, пытаются откупиться деньгами. Евреи Америки, в свою очередь устали от того, что Израиль без конца преподносит им "сюрпризы". Им все труднее ответить на вопрос, кому они отдадут предпочтение в трудную минуту выбора, — Америке или Израилю? Кстати, это бремя двойной лояльности уже дало о себе знать в дни Ливанской войны. Какими в будущем вы видите отношения Израиля с диаспорой?

Норман Подгорец. Начнем с того, что великая ирония истории сионизма заключается в том, что создание еврейского государства не оправдало одну из трех важнейших надежд ранних сионистских мыслителей, а именно: что еврейское государство сделает существование евреев более безопасным. На самом деле так не произошло. Но два других обещания сионизма, очевидно, были выполнены. Это конечно, не то, что я сам ожидал в 1948 году, — тогда мне было всего восемнадцать лет, но у меня уже были кое-какие мысли по этому поводу. Если бы меня тогда попросили высказать мое мнение о будущем Израиля, я бы точно сказал, что еврейское государство сделает жизнь евреев более безопасной, но не вселит гордость в евреев диаспоры, не заставит их ходить с высоко поднятой головой — а именно в этом заключалось другое обещание сионистов. На деле же как раз эта надежда и сбылась: существование еврейского государства помогло евреям диаспоры выпрямить спину.

Однако создание еврейского государства не решило еврейского вопроса. Рухнули надежды и на ассимиляцию, в которой также видели путь к решению этого вопроса. Гитлер перечеркнул эти надежды.

Иными словами, если еврейский вопрос и имеет "решение", то мы его пока не нашли.

В вашем вопросе есть посылка, с которой я не согласен, то есть я не считаю, что разрыв между Израилем и евреями диаспоры все расширяется. Ничего подобного. Я бы сказал, что происходит прямо противоположное. Несколько лет назад американский социолог-еврей Натан Глезер заметил, что "Израиль — это религия американских евреев". И, насколько я могу судить, Израиль имеет громадное воздействие и на советских евреев, то есть на вторую крупнейшую еврейскую общину в мире. Есть основания полагать, что так обстоит дело в большинстве стран. И самое удивительное — что это относится даже к Франции. Удивительное — потому что двадцать лет назад французские евреи были куда большими сторонниками ассимиляции и противниками сионизма, чем евреи любой другой страны.

Я хочу подчеркнуть: евреи во всем мире, иногда даже к своему собственному изумлению, чувствуют себя лично причастными к судьбе Израиля. Не в качестве филантропов или членов семьи, которым положено заботиться о родственниках, а в каком-то личном плане; у них ощущение, что их собственное положение в странах, где они живут, зависит от безопасности Израиля. Это не совсем мистическое ощущение, но и вполне рациональным его назвать тоже нельзя, поскольку разумом его постичь невозможно.

Что касается двойной лояльности, то да, в Америке и, насколько я понимаю, в других странах сильно тревожились по поводу двойной лояльности. Во всяком случае до создания Израиля это вызывало большую тревогу, особенно среди немецких евреев, которые процветали и добились в Германии высокого положения. Ну, что я могу сказать? Что эта тревога, как и многие другие, оказалась преувеличенной. В 50-х годах, которые я окрестил "золотым веком", хотя и были кое-какие осложнения в дни Суэцкого кризиса, все исходило из посылки, что интересы Израиля и Америки в общем и целом совпадают. Поэтому для таких обвинений евреев было мало поводов. Да, проблема эта существует. Но оказалось, что она далеко не так серьезна, как некоторые себе представляли. В США антисемиты и люди, настроенные враждебно по отношению к Израилю, иногда пытаются раздуть эту проблему. Но в большинстве своем американцы интуитивно чувствуют, что поднимать этот вопрос неправомерно.

Я признаю, что если бы США и Израиль в какой-то момент оказались по разные стороны баррикады или, если угодно, в известном смысле в состоянии войны друг с другом, этот вопрос встал бы для евреев весьма остро. В принципе, американская история знает подобные ситуации. Возьмем для примера американцев немецкого происхождения, которые находились под большим подозрением и во время первой мировой войны, и во время второй. Японцев посадили в концентрационные лагеря в 1940-1941 годах, исходя из предположения, что они будут пятой колонной, шпионами. С ними поступили очень несправедливо.

Разумеется, в Советском Союзе дело обстоит совсем по-другому. Там двойная лояльность — не причина, а скорее, продукт антисемитизма. Ее всегда можно использовать на руку антисемитам, чтобы вызвать у окружающих подозрения и неприязнь в адрес евреев. Так что я рассматриваю ее не только как автономный, но и как вторичный фактор, которым, очевидно, можно пользоваться как барометром антисемитизма.

Виктор Перельман. Я хотел бы услышать ваше мнение о скандально-знаменитом эссе Артура Кестлера "Иуда на перепутье". Во-первых, потому что оно дискутировалось в "Джуиш Кроникл" во многом близкой к "Комментари", а во-вторых, из всех авторов, обсуждавших эту тему, Кестлер был наиболее последователен. По крайней мере, когда утверждал, что после образования Израиля — само существование еврейской диаспоры потеряло смысл, а многовековой еврейский девиз "Ба шана аба бе Иерушалаим" ("В будущем году в Иерусалиме") превратился в бессмысленное бормотание. Если евреи хотят избавиться себя от антисемитизма, им предстоит сделать трудный выбор: либо переехать в Израиль, либо перестать быть евреями, то есть ассимилироваться. Эссе Кестлера вызвало бурю негодования в еврейском мире. Эмоционально я также не могу принять его идей. Но, если без ханжества и эмоций — был ли он так уж неправ? Что заставляет цепляться за свое еврейство, например, американских евреев? Многие ли из них владеют ивритом или связаны с еврейской религией и культурой? Что касается синагог, то в сравнении с израильскими, они напоминают что угодно, но только не молитвенные храмы. А раввины все чаще предстают в облике остроумных балагуров, развлекающих по шабтам членов своей общины. Итак, отвергнув Кестлера, евреи, сами того не замечая, идут по предложенному им пути, то есть перестают быть евреями. Не так ли?

Норман Подгорец. Прежде всего я хотел бы сделать поправку. "Джуиш кроникл" никогда не была близка к "Комментари".

Что касается Кестлера, то, если угодно, в его взглядах на еврейство да и на другие вопросы ощущалась склонность к наивному рационализму. Люди куда сложнее, чем он предполагает, рисуя картину мира, которая, конечно, будоражит мысль. Но евреи — довольно сложные люди. Они, как говорится в Библии, жестоковыйные, упрямые люди. И, с точки зрения строгого рационалиста, который не принимает эту сложность в расчет, евреи должны казаться ненормальными упрямыми: зачем это они хотят оставаться евреями в диаспоре, когда есть еврейское государство?

И в самом деле, зачем? Я думаю, по многим причинам — историческим, психологическим, социологическим и, возможно, даже связанным с верой и с мистикой, которых мы не в силах объяснить. Мы не в состоянии объяснить, если уж на то пошло, почему евреи вообще существуют. Ассирийцев давно нет, вавилонян давно нет, большинство великих народов древности исчезли с лица земли, а евреи все еще существуют. Я, по крайней мере, ни разу не встречал этому убедительного объяснения. Здесь какая-то мистика еврейской судьбы. Во всяком случае, мне это так представляется.

Так что, с моей точки зрения, тот факт, что не все евреи пожелали эмигрировать в Израиль и в то же время предпочли остаться евреями, — это объективная реальность, к которой нужно относиться нормально. Ее трудно объяснить, но она остается фактом, а не есть плод наших досужих рассуждений. Мы видим своими собственными глазами, что люди хотят в каком-то смысле оставаться евреями, хотят помогать еврейскому государству, принимают его судьбу близко к сердцу. Они приносят ему финансовые жертвы, а иногда и не только финансовые, но вот жить в нем не хотят. Такова реальность. Можно пытаться ее как-то объяснить, рассуждать о ней, но это реальность, которую Кестлер был неспособен предвидеть, поскольку там, где касалось евреев, воображение его было крайне ограничено. Он хорошо мог представить себе Рубашова и его допросы в советской тюрьме, но не будущее евреев.

Кестлер не мог представить себе положение, которое сложилось после 1948 года. Существуют очень жизнеспособные

еврейские общины, и Советский Союз является здесь самым впечатляющим примером. Речь идет о настоящем возрождении, которое, насколько я понимаю, было вдохновлено Израилем, притом в стране, где правительство намеренно проводило своего рода политику культурного геноцида. И тем не менее мы — свидетели всплеска еврейского самосознания даже в таких условиях. Причем процесс этот не остановился: учителей иврита бросают в тюрьмы, и все равно люди хотят оставаться евреями даже в Советском Союзе.

Вы спрашиваете меня, почему американские евреи так держатся за свое еврейство и насколько это серьезно. Да, серьезно. Только что вышла книга Чарльза Сильвермана, которая во многих отношениях не слишком хороша, и потому я не могу с энтузиазмом ее рекомендовать. Но он рисует жизнь американских евреев, которая полна религиозной и общественной активности, причем во всех уголках страны и во всех возрастных категориях, в том числе среди молодежи. Создается впечатление, что еврейская жизнь кипит. Во всяком случае, в ней нет и намека на увядание. Почему евреи желают оставаться евреями? Опять же — на этот вопрос мне ответить трудно. Может быть, лучше спросить: почему бы им не хотеть оставаться евреями?

Виктор Перельман. Ответьте, пожалуйста, что лично вас связывает с еврейством, помимо общих моральных соображений, по которым вы не можете себе позволить перестать быть тем, кем были ваши родители? Готовы ли вы более или менее конкретно сказать, от каких ценностей вам пришлось бы отречься, если бы вы перестали считать себя евреем, как это сделал Кестлер?

Норман Подгорец. Что меня лично связывает с еврейством? Когда-нибудь я напишу об этом книгу. Ответить на этот вопрос так, сходу, довольно сложно. Но скажу просто: для меня лично, как для отдельного человека, вопрос этот бессмысленен. Для меня представить себя не евреем — это то же самое, что представить себя человеком другого роста или не мужчиной. Это настолько во мне, что мне трудно вообразить себя кем-то другим. Я еврей, я американец, я мужчина,

у меня определенное телосложение. Все это не вопрос моего добровольного выбора, это мои неотъемлемые характеристики. Были моменты в моей жизни, когда это меня радовало больше, были — когда меньше. Но точно так же я бывал недоволен своим ростом или лицом...

Я еврей. Я знаю, конечно, что в каком-то смысле можно принять решение не быть евреем, хотя я нахожу, что люди, которые принимают такое решение, обычно более зациклены на еврействе, чем те, кто продолжают оставаться евреями. Ибо если вы решили притвориться, что вы не еврей, или перейти в другую веру, вам все время приходится вести внутреннюю борьбу со своим еврейством. В экзистенциальном смысле, я думаю, что когда вы пытаетесь отрицать такую неотъемлемую часть самого себя, вы живете в чудовищном напряжении. Сделать это можно, но это страшно тяжело, это чревато издержками, в каком-то смысле это безнравственно, и это своего рода духовное насилие над самим собой.

Виктор Перельман. Десять лет назад в первом номере журнала "Время и мы" редакция взяла интервью у израильского философа, раввина Штейнзальца, которого иногда называют самым умным евреем Израиля. Так вот, Штейнзальц сравнивает евреев с великими трагическими актерами, способными настолько уподобляться народам, среди которых они живут, что они становятся большими французами, чем сами французы, большими русскими, чем сами русские и т.д. У других народов складывается ощущение, что евреи не только берут их деньги, но изощренно похищают их душу и, таким образом, становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время устами и мозгом их народа. Как, по-вашему, не в этом ли экзистенциальные корни антисемитизма? Но если в этом, то возможно ли от него избавиться?

Норман Подгорец. Это остроумная теория насчет корней антисемитизма. Может быть, что-то в ней есть. Никто не знает, в чем на самом деле заключаются корни антисемитизма и как от него излечить. Могут сказать, что антисемитизм заложен в душе христиан. Я часто сравнивал отношения

между христианством и иудаизмом с отношениями между коммунизмом и либерализмом, или между марксизмом и либерализмом, поскольку во всех этих случаях революционная идеология (в одном случае теология, а в другом — политическая идеология) утверждала, что не низвергает старую религию, а лишь выполняет ее заветы. Христианство утверждало, что является осуществлением иудаизма, когда в действительности оно представляло собою низвержение иудаизма. Точно так же марксизм утверждал, что является осуществлением истинного либерализма, хотя на деле он его низвергал. Всегда, когда есть революционная идеология, органически связанная со старой культурой, со старым миром, появляется плодородная почва для ненависти, ибо вы продолжаете зависеть от того, что ниспровергаете. Эта зависимость порождает ненависть.

Это одна из теорий, хотя, конечно, антисемитизм существовал в Древнем мире еще до появления христианства. В александрийской культуре было немало того, что на современный взгляд представляется антисемитизмом. Возможно, евреев ненавидели, потому что видели в них фанатиков: они ведь были в ту пору монотеистами. Следы этого видны даже значительно позднее у Тойнби. Так что, где бы евреи ни жили на протяжении всей истории, у них явно был талант возбуждать к себе ненависть, по той или иной причине. Антисемитизм порождался сепаратизмом: евреев клеймили за обособленность, за клановость. Антисемитизм порождался ассимилятором, как это следует из теории Штейнзальца. Немецкие евреи стремились сделаться хорошими немцами. Мы знаем, к чему это привело. А когда евреи хотели оставаться в гетто, их также ненавидели за это. Их ненавидят за то, что они капиталисты, и их ненавидят за то, что они коммунисты. Они и революционеры, и контрреволюционеры. Так что в свете этого набора разношерстных и маловразумительных обвинений трудно выделить какую-то одну причину антисемитизма.

Виктор Перельман. Очень часто отмечают, что израильский сабра — это новый тип человека, которого отличает бескомплексность, прямота, физическая сила, умение во-

евать. Но не приходилось ли вам замечать, что не обошлось тут и без серьезных потерь: у сабр мы не находим еврейской гибкости ума, широты знаний, утонченности, самокритичности. То есть, как это ни парадоксально, не только в галуте, но и в Израиле евреи перестают быть евреями. Я цитирую Штейнзальца: "Эта нация по своему образу жизни, по способу мышления стала гораздо более нееврейской, чем, может быть, какая бы то ни было нееврейская нация". Согласны ли вы с такой точкой зрения?

Норман Подгорец. Я глубоко не согласен с этим утверждением Штейнзальца. Я не согласен, что Израиль сделался нееврейской страной, что израильтяне стали неевреями и что сам Израиль — это нееврейское государство. Полагаю, что произошло как раз противоположное, и вот почему. Я процитирую недавно умершего Гершона Шолома, которого большинство считает величайшим еврейским мыслителем нашего времени, он был крупнейшим авторитетом по кабале, хасидизму и т.п. Кроме того, это был человек очень широкой культуры и глубокого ума. Он родился в Германии и происходил из ассимилированной семьи. Когда Шолом в возрасте девятнадцати лет стал сионистом, отец выставил его из дома. У него был брат-коммунист, которого убили нацисты. Не за то, что он был евреем, а за то, что он был коммунистом. Шолом уехал в Палестину и ожидал, что там произойдет возрождение еврейской культуры, как предсказывали некоторые пророки сионизма. И вот несколько лет назад он сказал мне: "Чего я меньше всего ожидал, — это того, что в еврейском государстве самым блистательным институтом будет не университет, не литературная жизнь, а армия!"

Свои характеристики евреев Штейнзальц черпает из узкого галутного представления о них. Он забывает, что царь Давид тоже был евреем, но он был и воином. Иуда Маккавей тоже был евреем — и в то же время воином. Евреи не всегда были такими людьми, какими их представляет Штейнзальц.

Итак, Шолом не мог себе представить, что армия будет самым блистательным институтом еврейского государства, но он сказал: "Евреи — народ талантливый, а талант всегда

используется там, где он больше всего нужен. В наше время самая большая нужда была в армии, вот там он и был употреблен". Я думаю, что это очень важное соображение. Чтобы выжить, еврейскому государству пришлось научиться военному искусству. С моей точки зрения, для еврейского государства это самое важное искусство. Оно необходимо для евреев во всем мире. Потому что, я думаю, что если, не дай Бог, Израиль будет уничтожен, то исчезнут евреи и в других странах. Не знаю, почему это так, но евреи не переживут второй Катастрофы в нашем столетии. Создавая Израиль и овладевая этим искусством, необходимым для его выживания, евреи именно так реагировали на чудовищную травму, которую являла собой Катастрофа. Этим самым они как бы сказали: "Мы предпочитаем жить".

Нетрудно доказать теологически, что центральный принцип еврейской религии концентрируется именно на этом предпочтении. Этот выбор означал создание собственного государства, его защиту и овладение искусством воевать. Поступая таким образом, еврейский народ претворял в жизнь заветы иудаизма, конечно, инстинктивно, а не сознательно. Как сказал один еврейский теолог, существует 614-я заповедь, вытекающая из Освенцима и гласящая, что не следует дарить Гитлеру посмертных побед.

Виктор Перельман. В своем эссе "Иуда на перепутье" Кестлер вводит понятие "сверхкомпенсация". Смысл его в том, что только под бременем страданий, переживаемых евреями диаспоры, могли родиться такие гении, как Спиноза, Пруст, Кафка, Фрейд... Ну а как же Израиль, избавивший евреев от галутских страданий, способен ли он рождать еврейских гениев?

Норман Подгорец. Спиноза, Пруст — ну, я не очень уверен насчет Пруста, он был только наполовину еврей, — Кафка, Фрейд... Да, есть такое явление — гений диаспоры. Я, между прочим, заметил, что вы не упомянули здесь Маркса.

Может ли Израиль рождать еврейских гениев? Я отвечу на это так: Израиль рождает гениальную способность народа выживать в невероятно тяжелых условиях. Кроме того, ге-

ниальную способность сохранять цивилизованное, демократическое общество при осадном положении. Это не просто трудно. Это почти невозможно — ведь ни одно из государств стран "третьего мира" не оказалось в состоянии этого сделать. По-видимому, одна из причин, по которым Израиль так ненавидят в ООН, состоит в том, что в этом смысле он постоянно посрамляет страны "третьего мира".

Виктор Перельман. Последний мой вопрос связан с одним прогремевшим на весь мир эпизодом в истории вашего журнала. Я имею в виду случай, когда Голда Меир предъявила к журналу иск на три миллиона. Примечательно, что "Комментари" вышел из этой ситуации куда более достойно, чем другие масс-медиа, оказывавшиеся в подобном положении. Насколько я помню, Голда Меир взяла свой иск назад. Может быть, вы скажете несколько слов об этой долевшей даже до Москвы истории?

Норман Подгорец. Да, мы напечатали статью Льва Наврозова, которая не имела отношения к Израилю или к Голде Меир, а скорее, к западной наивности перед лицом тоталитаризма. В ней говорилось, что демократическим народам Запада трудно или даже невозможно понять истинную природу тоталитаризма. Даже такие серьезные политики Запада, писал он, как Черчилль и Голда Меир, которые вообще не были людьми наивными, становились наивными, когда дело касалось Советского Союза. В качестве примера он привел Голду Меир, когда она была послом... Нет, это было еще до создания Израиля. Так вот, Голда Меир, по просьбе Сталина, передала ему список евреев, готовых сражаться за независимость Израиля. Все они были арестованы и казнены. Собственно, в статье непосредственно Голды Меир касались два-три предложения. Но через несколько месяцев я получил письмо, в котором Голда Меир утверждала, что все это ложь. Я справился у Льва Наврозова о точности его данных, и он снова подтвердил их и сказал, что может доказать факты, изложенные в статье, документами, что готов поехать в Израиль и их разыскать, а также найти свидетелей. Мы поддержали своего автора и отказались публиковать опроверже-

ние, но я предложил Голде Меир напечатать ее письмо, в котором бы излагалась ее позиция. Голда Меир от этого предложения отказалась, настаивая на извинении и признании, что статья Наврозова содержит неверные утверждения. Мы на это не пошли.

Вся эта история тянулась довольно долго. Иск Голды Меир на три миллиона долларов действительно существовал. Миллион — против меня, миллион — против Наврозова и миллион против Американского еврейского комитета. Американский еврейский комитет является владельцем "Комментари", но не контролирует журнал. С точки зрения редакционной политики "Комментари" пользуется независимостью.

Улажено дело было таким образом: после долгих переговоров я согласился напечатать заявление Американского еврейского комитета, в котором говорилось, что он готов признать, что заявление Голды Меир имеет некоторые основания, хотя в то же время Комитет не отрекся и от "Комментари". Голда Меир это приняла. Сам же вопрос так и остался неразрешенным. Я никогда не видел неопровержимых доказательств ни правоты Льва Наврозова, ни его неправоты.

Виктор Перельман. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям и прежде всего тем, кто находятся в России?

Норман Подгорец. Это деликатный вопрос. Я желаю им дожить до того дня, когда исчезнет коммунизм, как в Советском Союзе, так и в других странах. Вот чего я им желаю. Пожелание это крайне утопично. С другой стороны, некоторые считают, что единственная империя в истории, которая просуществует вечно, — это Советский Союз. Но я как-то не вижу, почему это должно быть так. Все великие империи в истории — ассирийцы, вавилоняне, греки, римляне, англичане, французы — все великие империи рано или поздно прекратили свое существование.

Виктор Перельман. Пользуясь случаем, я хотел бы от имени наших читателей по обе стороны железного занавеса поздравить "Комментари" с его сорокалетием, а вас — с 25-летием редакторской деятельности. Мне приятно также поблагодарить вас от имени наших читателей за эту беседу.



Мильтон ФРИДМАН

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ СВОБОДНОГО РЫНКА

"СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА ТАК НЕЭФФЕКТИВНА, ЧТО СТОИТ ТАМ ВВЕСТИ РЫНОЧНУЮ СИСТЕМУ, КАК БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БУДУТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, НЕ СЧИТАЯ НОМЕНКЛАТУРЫ", — СКАЗАЛ ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИЛЬТОН ФРИДМАН, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ". НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ С МИЛЬТОНОМ ФРИДМАНОМ.

В о п р о с . Уже после того как вышла ваша блестящая книга "Капитализм и свобода", в странах с тоталитарными режимами произошли определенные изменения. Не могли бы вы сказать, насколько эти изменения способны расшатать экономическую структуру этих стран? Циркулируют слухи о том, что новое поколение кремлевских руководителей намерено пойти на далеко идущие перемены. Говорят, например о возврате к нэпу...

О т в е т . Я не думаю, чтобы свободный рынок мог сделаться господствующей формой экономической организации этих стран, ибо это подорвало бы политическую власть правящих группировок. Но нет ни малейшего сомнения в том, что элементы свободного рынка могут быть использованы правящими классами для достижения каких-то ограниченных целей. Нечто подобное как раз и происходит в ряде коммунистических стран. В самой России на выделяемых колхоз-

никам приусадебных участках производится около трети продовольствия страны. Эти участки, насколько я понимаю, занимают всего три процента земли. Кстати, это очень интересный пример. Власти предрержащие, вне всякого сомнения, понимают, что если они расширят свободный рынок в сельском хозяйстве, то положение с продуктами улучшится. Почему же они этого не делают? Совсем не из невежества — люди там сидят осведомленные. Просто они заключили, что перспектива потери политической власти для них важнее, чем увеличение производства продуктов.

Правящие круги Китая рассудили по-другому и добились в сельском хозяйстве огромных успехов. Они говорят об аналогичных намерениях в области промышленности, однако здесь достигнуты куда меньшие успехи, и вряд ли их можно ждать в будущем.

Я был в красном Китае четыре года назад, когда этот процесс только начинался. Мне было очень интересно побывать на разных промышленных предприятиях. На каждом из них я спрашивал: "Вы знаете об этом новом подходе?" — "О, да!" — "А как он на вас отразился?" — "Нет, на нас он еще никак не отразился".

С тех пор этот процесс пошел дальше, но все равно: самые ощутимые результаты достигнуты в сельском хозяйстве.

Чем сельское хозяйство отличается в этом смысле от промышленности? Во-первых, я думаю, что в Китае сельское хозяйство было лучше приспособлено к таким вещам. Контроль над ним был менее централизован и раньше. Более того, система, которая вводится у них в сельском хозяйстве, в большой степени соответствует их традиционному, историческому укладу. В общем-то ничего нового в этой системе нет.

Что касается России, то ведь нэп был введен там в начале 20-х годов не из желания ввести капиталистические методы, а от отчаяния. И, как вы знаете, власти его отменили, как только почувствовали, что могут от него избавиться.

Другой интересный пример представляет собой Югославия. Она пошла дальше, чем Китай или Россия, однако отнюдь не так далеко, чтобы можно было ее назвать страной свободного рынка. А далеко она смогла пойти, с моей точки зрения, по

той причине, что входящие в ее состав региональные группы оказались весьма сильны. Югославия — это конгломерат республик. То же самое относится и к России, но там русский компонент куда более важен, чем сербский — в Югославии. Именно конфликты между республиками и позволили укорениться рыночным отношениям в Югославии.

Вопрос. Предположим, что советское правительство решило ввести свободно-рыночную экономику. Не может ли это привести ко всяким нежелательным пертурбациям? Стоит ли игра свеч?

Ответ. Да не будет никаких пертурбаций. Будут одни преимущества, поскольку советская экономика так неэффективна, что стоит вам ввести рыночную систему, как буквально через месяц практически все будут жить лучше. Не считая номенклатуры.

Вопрос. Но там тысячи крупных заводов, фабрик. Как передать их частному сектору? Продать самым богатым спекулянтам?

Ответ. Ну, перевести их в частный сектор как раз совсем несложно. Вы просто передаете их народу.

Вопрос. Как именно, кому?

Ответ. Я подробно писал об этом в отношении других стран. Вот что надо будет сделать: вы создаете множество взаимных фондов, каждый из которых получает в собственность какие-то предприятия, принадлежащие сейчас правительству. Затем каждый взаимный фонд выпускает акции, и вы выдаете каждому гражданину страны по акции из каждого фонда. Потом создаете фондовую биржу, на которой эти акции могут продаваться и покупаться. В такой стране, как Россия, продавать предприятия некому.

Когда я обсуждаю эту тему с социалистами, я всегда спрашиваю: "Кому принадлежат государственные предприятия?" Они отвечают: "Народу". Тогда я говорю: "Так отдайте их народу". С моей точки зрения, именно это надо было сделать Маргарет Тэтчер вместо того, чтобы идти по более трудному пути, который она избрала. Один такой эксперимент имел место. Это было в Британской Колумбии, в которой был соз-

дан так называемый БРИК (Бритиш ресорсес инвестмент корпорейшен). Правительству Британской Колумбии принадлежало много полезных ископаемых, я не помню, каких точно: нефть, шахты и т.п. Оно объединило их, передало в собственность созданной для этого компании, предоставив каждому гражданину Британской Колумбии по несколько акций этой компании. Именно так можно будет избавиться от государственных предприятий.

Пертурбации будут в том, что те, кто стоит у власти, ее потеряют. Вы спрашиваете, стоит ли игра свеч? Вопрос, извините, несуразный. Ведь до 1914 года Россия была одним из крупнейших экспортеров пшеницы. Сейчас она пшеницу ввозит. Стоит ли сделать так, чтобы Россия снова сделалась экспортером? Вот к чему я веду: сегодня уровень производства в России составляет малую долю ее потенциальных возможностей. И потенциал этот можно реализовать лишь посредством рыночной системы хозяйствования. Вы спрашиваете: стоит ли вводить систему, благодаря которой средний доход русского народа возрастет в десять раз? И это только с экономической точки зрения, не говоря о преимуществах, которые принесет свобода мысли, свобода слова, вероисповедания. Но, конечно же, нереалистично ожидать, что советское правительство будет вводить рыночную систему.

В о п р о с . Разрешите теперь коснуться экономики Израиля. Прежде всего приложимы ли ваши концепции к многоукладной израильской экономике? В свое время, как известно, вы консультировали израильское правительство и предложили ему ряд рекомендаций. В какой степени оно следовало им? Что бы лично вы предприняли, если бы были израильским министром финансов, для того чтобы вывести страну из экономического тупика?

О т в е т . Разумеется, эти концепции приложимы и к Израилю. И вообще, если говорить об экономических законах и принципах, то они в равной мере применимы и к Советскому Союзу, и к Соединенным Штатам, и к Израилю. Конкретные условия, в которых вы их применяете, могут быть разными, но принципы остаются те же. В 1977 году я проговорил с чле-

нами израильского правительства три дня. Однако была принята лишь одна из моих рекомендаций: отмена контроля над валютными операциями и предоставление свободы рынку обмена.

Но не была принята ни одна другая рекомендация. Даже наоборот. Главной моей рекомендацией, разумеется, всегда было сокращение правительственных расходов. Без этого ничего сделать нельзя. Надо сократить, во-первых, государственные расходы, и, во-вторых, вмешательство правительства во все сферы экономики. Рекомендация, которую я поставил во главу угла, состояла в отмене государственных субсидий промышленности в виде так называемых займов, которые предоставлялись под процент, не привязанный к инфляции, то есть по сути дела под отрицательный процент. Этого как раз и не сделали.

Помнится, я провел целое утро с группой лиц, среди которых был руководитель Гистадрута, глава организации владельцев банков, руководитель союза фермеров и глава ассоциации промышленников, то есть руководители разных "групп давления". Я начал эту встречу с заявления, что "позиция собравшихся в этой комнате является главным препятствием на пути разумной экономической политики Израиля". И, действительно: фермеры не имели ничего против свободного рынка в промышленности — но не в сельском хозяйстве. То же относилось и к Гистадруту, промышленникам, владельцам банков. Это заявление, к несчастью, оказалось справедливым. В тот момент открывались широкие возможности. К власти пришло новое правительство. Тогда, если бы проявить решительность, можно было бы взять совершенно новый курс в экономике. Но этого не сделали. У Бегина не было к экономике ни малейшего интереса. Я проговорил с ним довольно долго, и как личность он произвел на меня большое впечатление. Но можно быть великим человеком и очень скверным экономистом. Тут моим излюбленным примером является Черчилль. Всякий раз, когда он касался экономических вопросов, он принимал неверные решения. Хотя, конечно, он был великим человеком.

Что касается Израиля, то, разумеется, я не несу никакой ответственности за то, что там произошло. Кстати, у меня не было никаких разногласий с израильскими экономистами. Я не высказывал какую-то крамольную точку зрения. Любой экономист в Израиле скажет вам то же самое: проблему невозможно решить без резкого сокращения правительственных расходов и уменьшения правительственного контроля над экономикой. Ведь положение в Израиле из ряда вон выходящее: совокупные правительственные расходы примерно равны валовому национальному продукту. Это неслыханная ситуация. Я не знаю в мире ни одного другого правительства, при котором это было бы возможным. Если взять Швецию, которая среди западных стран в этом смысле являет собой крайний случай, — там общие правительственные расходы составляют примерно шестьдесят процентов валового национального продукта.

Израильское правительство относит это обстоятельство на счет военных расходов. Но это чепуха, потому что, когда вы исчисляете бремя военных расходов, вам следует вычестить ту их долю, которая финансируется из-за границы. Так вот, если отнять оборонные расходы, которые оплачиваются правительством Соединенных Штатов, то остаток, лежащий на плечах израильской экономики, составит где-то пятнадцать процентов национального дохода. Это высокий показатель: у нас, в США он примерно в два раза ниже, — процентов семь. Но и в Израиле он не превышает пределов разумного, и на него нельзя списать остальные правительственные расходы и уменьшение их сократить. Поэтому если спросить, что же нужно сделать, то ответ простой: прежде всего — резко сократить правительственные расходы.

Почему в Израиле этого не делают? По той же причине, по которой не сокращает государственных расходов Конгресс США. Те же группы давления: промышленники совсем не против сократить расходы на сельское хозяйство, фермеры отнюдь не возражают против сокращения ассигнований на промышленность, все готовы сократить расходы за чужой счет. Притом одной из самых крупных групп давления является сама бюрократия, правительственный аппарат.

В Израиле создано правительство национального единства, которое как будто должно было решить экономические проблемы. Первое, что оно сделало, — создало дополнительные министерства, чтобы пристроить всех видных политиков, в том числе из вошедших в коалицию мелких партий. Теперь, насколько я понимаю, в Израиле больше министерств, чем раньше. Каждое из них рассматривает правительственные расходы как своего рода спецфонд, из которого можно покупать себе голоса избирателей.

С моей точки зрения, проблема не будет решена, пока не наступит настоящий кризис. Создается впечатление, что кризис имеет место уже сейчас, но это еще цветочки. Настоящий кризис наступит тогда, когда начнется гиперинфляция типа той, что началась в Германии после первой мировой войны.

В своем классическом исследовании по этому поводу Фил Кейген подсчитал, что гиперинфляция началась, когда цены стали расти более чем на пятьдесят процентов в месяц. То есть речь идет где-то о двух тысячах процентов в год. Но точные цифры не играют никакой роли. Важно то, что вы оказываетесь во взрывоопасной ситуации, которая выходит из-под вашей власти.

Вообще, довольно любопытно, что произойдет в данном случае. В отличие от Германии и всех других стран (за исключением, возможно, Боливии), переживших настоящую гиперинфляцию, в Израиле существует целая система индексирования, которая в немалой степени нейтрализует действие инфляции. Именно поэтому страна пока могла позволить себе такую высокую инфляцию и при этом не развалилась. Надо сказать, что у нас слишком мало эмпирических данных, чтобы судить, как там будут развиваться события. В каком-то смысле это уникальная ситуация.

В прошлом гиперинфляция наступала всегда в странах, проигравших войну, с нестабильным, слабым правительством, неспособным обеспечить налогообложение. Здесь мы впервые имеем дело со страной, которая не проиграла войну, не ведет активных военных действий, правительство которой было избрано демократическим путем и, судя по всему, об-

ладает всей полнотой власти. И тем не менее она явно катится к гиперинфляции. А с другой стороны, как я уже говорил, там создана единственная в своем роде система индексирования того или иного сорта, которая позволяет людям существовать, несмотря на столь высокую инфляцию.

Как ученому мне очень интересно знать, чем там все кончится. Но как сторонник Израиля я вне себя от полного нежелания его правительства пойти на необходимые меры. В конечном итоге экономические проблемы, стоящие перед Израилем, могут оказаться куда серьезнее, чем проблемы военные.

В первый раз я был в Израиле более двадцати лет назад, в начале 60-х годов. Я провел там три месяца и вынес впечатление, что в Израиле противостоят две традиции. Одна — это столетняя традиция социал-демократии, социализма, централизованного планирования, коллективизма. Другая — двухтысячелетняя традиция обхода правительственных ограничений экономической деятельности в диаспоре. И я сказал тогда: "К счастью, старая традиция оказалась сильнее новой". Однако теперь это уже не так.

И тот факт, что новая традиция сделалась сильнее старой, привел, с моей точки зрения, к тому, что там теперь происходит. Как вы знаете, я специалист по деньгам и банковской системе. Ни в одной другой стране мира нет такой сложной системы государственного регулирования и повторного регулирования банковской деятельности, как в Израиле. Евреи — умный народ, у евреев тысячелетний опыт ведения финансовых дел, и тамошние банкиры поэтому очень ловко умеют обходить правительственные правила, а чиновники так же ловко умеют вводить новые правила, чтобы восстановить равновесие. Конечным результатом всего этого является чудовищно сложная структура.

Так или иначе, в данный момент я отношусь к ситуации в Израиле весьма пессимистически.

В о п р о с . В своей книге "Капитализм и свобода" вы говорите о двух принципиально отличных экономических моделях: капиталистической и социалистической. Однако, не нахо-

дите ли вы у крупных сверхмонополий, например, в фармацевтической промышленности, черты социалистических предприятий: огромный бюрократический аппарат, снижение роли (а иногда и сведение на нет) свободной конкуренции, усиление контроля над ценами. Иными словами, не назревают ли в рамках самого капитализма тенденции, отрицающие его принципы?

О т в е т . Разумеется, любое общество представляет собой смесь капиталистических и социалистических элементов, однако я не думаю, чтобы транснациональную корпорацию можно было считать средоточием социалистических элементов. Разве лишь постольку, поскольку она защищена своим правительством. Настоящие транснациональные корпорации достигают огромного размера, у них есть своя бюрократия, но это не значит, что они свободны от конкуренции. Средоточием социализма во всех странах следует считать правительственное регулирование экономической деятельности. Например, вы упомянули фармацевтические компании. Их способность контролировать цены на патентованные лекарства происходит из двух источников. И одним из них является Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Эф-ди-эй), которое по сути дела ограждает существующие лекарства от конкуренции. Процедура получения лицензии на новые лекарства является чрезвычайно дорогостоящей и отнимает массу времени. Если бы не существовало Эф-ди-эй, эти компании контролировали бы рынок куда меньше. Но Эф-ди-эй создано не свободным рынком, а правительством. Поэтому если я говорю, что каждое общество представляет собой указанную смесь, то это происходит не из-за транснациональных корпораций.

Но что касается вашей последней фразы: "Не порождает ли капитализм тенденции, враждебные его собственным принципам?" — то, конечно, порождает. Я всегда утверждал, что двумя главнейшими врагами свободного рынка являются, с одной стороны, бизнесмены, а с другой — мои собратья — интеллектуалы. Причем по противоположным причинам. Всякий бизнесмен ратует за свободный рынок для других. Сам

же он хочет для себя каких-то льгот от правительства. Всякий интеллектual ратует за свободу для себя самого, но хочет, чтобы существовал контроль над остальными. Поэтому я, разумеется, согласен, что капитализм порождает тенденции, враждебные его собственным принципам.

Вы употребляете слово "капитализм". Мне кажется, что это неверный термин, лучше сказать "свободное общество". Ведь Россия — это в каком-то смысле тоже капиталистическая страна, только там государственный капитализм. Если вы пользуетесь словом "капитализм", то лучше говорить "капитализм, основанный на конкуренции", или "свободно-рыночный капитализм". Любое общество использует капитализм, власть принадлежит тем, кто этот капитал контролирует. Но мне часто приходила мысль, что свободное общество находится в состоянии неустойчивого равновесия. Как показывает история, свободных обществ была горстка, и существовали они всегда очень недолго. А из этого следует, что свободное общество может выжить лишь в каких-то весьма особых обстоятельствах.

В о п р о с . В свое время Макс Вебер писал, что зарождение капитализма исторически связано с протестантской этикой. Не кажется ли вам, что последнее десятилетие отмечено упадком духа капитализма? Что, осуществляя принципы свободного обмена и стремясь получить большие доходы (что само по себе естественно), люди забывают о нравственных нормах — верности слову, честности, преданности идее бизнеса. Не в этом ли, в частности, причина снижения качества американских изделий и особенно уровня американского сервиса?

О т в е т . Конечно, я согласен, что, проводя в жизнь принцип свободного обмена товаров, люди склонны забывать некоторые нормы этического поведения, однако я замечу, что то же самое происходит, когда в жизнь проводятся принципы социализма. В этом вопросе вы всего-навсего говорите о несовершенстве человеческой природы. Реальная общественная проблема состоит не в том, как устроить, чтобы хорошие люди творили добро, а в том, чтобы обыкновенные люди прино-

сили как можно меньше вреда. Величайшее достоинство основанного на свободном рынке капитализма состоит в его способности обуздывать эти тенденции в человеке, поскольку при свободнорыночном капитализме интересы потребителя защищают не те люди, у которых он что-то покупает, а те, кто конкурируют с людьми, у которых он что-то покупает, тогда как при социалистическом способе хозяйствования конкуренция отменена вообще. Самое главное — это конкуренция, способность одних людей свободно совершать деловые операции с другими.

В о п р о с . Недавно Вашингтонский КАТО-институт выпустил на русском языке книгу: "Фридман и Хайек о свободе". Насколько мы знаем, КАТО планирует издать серию таких книг специально для читателей в СССР и странах Восточного блока. Что бы вы могли сказать об этой инициативе?

О т в е т . Естественно, я считаю, что доносить западную мысль до читателей в Восточном блоке — это превосходная затея, которая заслуживает всяческой поддержки.

Интервью вели Виктор Перельман и Владимир Козловский



Лев ТРОЦКИЙ

ПОЧЕМУ ОНИ КАЯЛИСЬ

Отрывки из книги "Преступления Сталина"
 Публикация Юрия Фельштинского

Предлагаемые отрывки книги "Преступления Сталина" были написаны Троцким в течение 1937 года. Тогда же книга была издана на основных европейских языках, но на русском так никогда и не была опубликована. Сам Троцкий в августе 1940 г. был убит агентом ГПУ; и эта смерть, последовавшая вскоре после окончания московских процессов, стала своеобразным эпилогом к проведенным Сталиным партийным чисткам.

С тех пор прошло 45 лет. Книга потеряла былую политическую остроту и стала историческим документом, написанным рукой "репрессированного" Сталиным большевика. Можно считать ее ответом на обвинения, выдвинутые на московских процессах против Троцкого. Каким же предстает перед нами в этой речи, произнесенной за три года до смерти, Троцкий? Пройдя через высылку, гибель детей и дру-

зей, отречение от "троцкизма" своих единомышленников и засвидетельствовав начало уничтожения всей "ленинской гвардии", Троцкий не только не разочаровывается в своих (коммунистических) идеалах, но умудряется сохранить уверенность в том, что не сделал в своей жизни ни одной ошибки. Троцкий не чувствовал себя и ответственным за происходящее в СССР, вина во всем "сталинскую бюрократию". Между тем роль Троцкого в укреплении коммунистического режима в СССР была сравнима только с ролью Ленина. И даже карательная система, используемая Сталиным во время московских процессов, была сооружена еще при жизни Ленина и при активном участии Троцкого.

Русская революция не знала более блистательного революционера и более слабого тактика: с октября 1917 г. на внутрипартийном фронте Троцкий не одержал ни одной победы. Он не смог переиграть созданной им же самой системы, и отдал ей на погибель себя, свою семью и всех "ленинских гвардейцев".

Революция пожирала своих детей. Одним из них был Троцкий. Когда-то второй в государстве человек, он метался, как загнанный зверь, спасаясь от им же созданной системы, теперь не контролируемой никем, даже Сталиным. Уже многие годы ощущение полного бессилия не покидало Троцкого. Он писал бесконечные статьи, публикуя их в социалистической, а иногда и в "буржуазной" прессе, но они встречали сочувствие лишь горстки его последователей, и только. Эмиграция не принесла ему освобождения. В алма-атинской ссылке он, по крайней мере, не опасался за свою жизнь. В эмиграции же он каждый день ожидал покушений.

Запад принял его холодно, даже враждебно. Самые гуманные принципы западных демократий отступали перед творимым Троцким злом: подрывной коммунистической деятельностью, направленной на уничтожение того самого западного общества, у которого он надеялся получить политическое убежище. И Троцкий, даже из тактических соображений не соглашаясь умолчать об основной своей цели — мировой

коммунистической революции, — совершенно искренне не мог понять, почему отказывается Запад разрешить ему беспрепятственно проживать в Европе и заниматься организацией новой коммунистической революции. Даже высылка в Мексику Троцкого не образумила. Он томился в Койоакане, как в заточении, в полном отрыве от реальности, и погиб в результате очередного покушения, оказавшегося, наконец, удачным. Его блистательная победа 1917 года обернулась поражением.

Он умер тем, кем он был всегда — революционером, не считающимся с действительностью, и прежде всего — с самой простой истиной, — что людям естественно желание жить и любить, а не умирать и ненавидеть.

Юрий Фельштинский

ПРЕДИСЛОВИЕ

В период своего подъема революция могла быть грубой и жестокой, но она была правдива. Она открыто говорила то, что думала. Политика Сталина лжива насквозь. В этом выражается ее реакционный характер. Реакция вообще лжива, ибо вынуждена скрывать свои действительные цели от народа. Реакция на фундаменте пролетарской революции лжива вдвойне. Можно сказать без всякого преувеличения, что термидорианский режим Сталина является самым лживым режимом в мировой истории. Вот уже в течение четырнадцати лет автору этих строк суждено служить главной мишенью термидорианской лжи.

До конца 1933 года московская пресса, а следовательно, и ее тень — пресса Коминтерна — изображала меня британским и американским агентом и даже именовала меня "мистер Троцкий". В "Правде" от 8 марта 1929 года целая страница посвящена доказательству того, что я являюсь союзником британского империализма (тогда он еще не назывался в

Москве "британской демократией"), причем устанавливалась моя полная солидарность с Уинстоном Черчиллем. Статья заканчивалась словами: "Ясно, за что платит ему буржуазия десятки тысяч долларов!" Дело шло тогда о долларах, не о марках.

2 июля 1931 года та же "Правда" при помощи грубо подделанных факсимиле, о которых она сама поспешила забыть на следующий день, объявляла меня союзником Пилсудского и защитником насильнического версальского мира. В те дни Сталин боролся не за статус кво, а за "национальное освобождение" Германии. В августе 1931 года "теоретический" орган французской компартии "Кайе дю Большеви́зм" обличал "трогательный единый фронт", который установился "между Блюмом, Полем Бонкуром и французским генеральным штабом, с одной стороны, и Троцким — с другой". Я оставался, таким образом, крепко привязан к странам Антанты!

24 июля 1933 года, то есть после окончательного воцарения Гитлера в Германии, я въехал через Марсель во Францию благодаря визе, полученной мною от правительства Деладьё. Согласно ретроспективным "разоблачениям" недавних московских процессов, я был уже в те дни агентом Германии и занимался подготовкой мировой войны с целью разгрома СССР и Франции. На процессе Радека—Пятакова, в январе 1937 года, было, в частности, "установлено", что как раз в конце июля 1933 года я встретился в Буа де Булонь с корреспондентом ТАСС Владимиром Роммом, чтобы через его посредство привлечь русских троцкистов к союзу с Гитлером и микадо. Но "Юманите" ничего этого не подозревала: как раз в день моего приезда во Францию она опубликовала статью, разоблачавшую мой тайный союз с правительством Деладьё. Прикрывая интриги белой эмиграции и приглашая Троцкого, — так писал орган Сталина—Кашена—Тореза, — "французская буржуазия обнажает свою истинную политику в отношении Советского Союза: переговоры по необходимости, улыбки по нужде, но за кулисами — помощь и поддержка всем саботажникам, интервенционистам, конспираторам, клеветникам и

ренегатам революции... Из Франции, из этого очага анти-советской борьбы, он может атаковать СССР... Стратегический Пункт! Вот почему прибывает г.Троцкий”.

Все позднейшие формулы прокурора Вышинского налицо: конспирация, саботаж, подготовка интервенции. Но есть разница: преступной деятельностью я занимался в союзе с французской буржуазией, а не с германским фашизмом.

Может быть, однако, злополучная "Юманите" была попросту не в курсе дела? Нет, парижский орган Сталина правильно отражал взгляды работодателя. Тяжеловесная мысль московской бюрократии никак не хотела покидать старой орбиты. Союз с Германией, независимо от ее государственной формы, считался аксиомой внешней политики Советов.

13 декабря 1931 года Сталин в беседе с немецким писателем Эмилом Людвигом заявил: "Если уж говорить о наших симпатиях к какой-либо нации, то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам... Наши дружественные отношения к Германии остаются такими же, какими были до сих пор". Сталин имел даже неосторожность прибавить: "Имеются политики, которые сегодня обещают или заявляют одно, а на следующий день либо забывают, либо отрицают то, о чем они заявляли, и при этом даже не краснеют. Так мы не можем поступать".* Правда, это было еще в эпоху веймарской республики. Но победа фашизма вовсе не изменила московского курса. Сталин делал все, чтобы заслужить благорасположение Гитлера.

4 марта 1933 года правительственные "Известия" писали, что СССР является единственным государством, которое не питает враждебных чувств по отношению к Германии, и "это независимо от формы и характера германского правительства".

Парижский "Ле Тан" отмечал, со своей стороны, 8 апреля 1933 года: "В то время как приход Гитлера к власти живо занимал европейское общественное мнение и вызывал всюду

* Эти цитаты взяты из официального советского издания: "Ленин и Сталин о советской конституции", с. 146, 147.

обильные комментарии, московские газеты хранили молчание". Сталин пытался купить дружбу победителя, повернувшись спиной к немецкому рабочему классу.

Общая картина, таким образом, ясна. В тот период, когда я, согласно позднейшей, ретроспективной версии, занимался организацией сотрудничества с Гитлером, печать Москвы и Коминтерна изображала меня агентом Франции и англосаксонского империализма. В германо-японский лагерь я был перечислен лишь после того, как Гитлер оттолкнул протянутую руку Сталина и заставил его вопреки первоначальным планам и расчетам искать дружбы "западных демократий". Обвинения против меня были и остаются лишь отрицательным дополнением дипломатических поворотов Москвы. Перемены моей политической ориентации происходили каждый раз без малейшего участия с моей стороны. Однако между двумя прямо противоположными и в то же время вполне симметричными версиями клеветы есть серьезная разница. Первая версия, превращавшая меня в агента бывшей Антанты, имела преимущественно литературный характер. Клеветники клеветали, газеты распространяли отраву, но Вышинский еще не выходил из тени. Правда, ГПУ и тогда уже время от времени расстреливало отдельных оппозиционеров, приписывая им то саботаж, то шпионаж (в пользу Англии или Франции!). Но дело шло пока еще о малозаметных лицах, расправа производилась за кулисами, в порядке скромных опытов. Сталин только дрессировал еще своих следователей, судей и палачей. Понадобилось время, чтоб довести бюрократию до такой степени деморализации, а радикальное общественное мнение Европы и Америки — до такой степени унижения, когда стали возможны грандиозные судебные подлоги против троцкистов.

Все этапы этой подготовительной работы можно проследить ныне с документами в руках. Сталин не раз наталкивался на внутренние сопротивления и несколько раз отступал, но каждый раз лишь для того, чтоб придать своей работе более систематический характер. Политическая цель состояла в том, чтоб создать автоматическую гильотину для всякого

противника правящей клики: кто не за Сталина, тот наемный агент империализма. Эта грубая схематизация, приправленная личной мстительностью, вполне в духе Сталина. Он, видимо, ни на минуту не сомневался, что "добровольные признания" его жертв убедят весь мир в подлинности обвинений и тем самым раз навсегда разрешат проблему неприкосновенности тоталитарного режима. Оказалось, не так. Процессы повернулись против Сталина. Причина — не столько в грубости подлога, сколько в том, что тиски бюрократии стали окончательно невыносимы для развития страны. Под напором растущих противоречий Сталину пришлось изо дня в день увеличивать радиус подлогов. Кровавой чистке не видно конца. Пожирая собственные ряды, бюрократия неистово кричит о бдительности. В ее криках слышится подчас вой смертельно раненного животного.

Напомним еще раз, что во главе списка изменников стоят все члены Политбюро эпохи Ленина — за вычетом одного Сталина, — в том числе: бывший руководитель обороны в эпоху гражданской войны; два бывших руководителя Коммунистического Интернационала; бывший председатель Совета народных комиссаров; бывший председатель Совета труда и обороны; бывший глава советских профессиональных союзов. Далее следует ряд членов Центрального Комитета и правительства. Фактический руководитель промышленности Пятаков стоял, оказывается, во главе саботажа; заместитель народного комиссара транспорта Лившиц оказался агентом Японии и организатором железнодорожных крушений; главный страж государственной безопасности Ягода — гангстером и изменником; заместитель народного комиссара по иностранным делам Сокольников — германо-японским агентом, как и главный публицист режима Радек. Мало того: вся головка Красной армии состояла на службе врага. Маршал Тухачевский, которого недавно посылали в Англию и Францию для ознакомления с военной техникой дружественных стран, продавал поведенные ему секреты Гитлеру. Политический руководитель армии Гамарник, член ЦК, оказался предателем. Военные представители Франции, Вели-

кобритании и Чехословакии совсем недавно отдавали дань признания украинским маневрам, которыми руководил генерал Якир. Оказывается, что Якир подготовлял захват Украины Гитлером. Генерал Уборевич, страж западной границы, собирался сдать врагу Белоруссию. Два бывших начальника Военной академии, генерал Эйдеман и генерал Корк, заслуженные полководцы гражданской войны, готовили своих воспитанников не для победы, а для поражения Советского Союза. В измене обвинены десятки менее известных, но крайне значительных военачальников. Все эти разрушители, саботажники, шпионы, гангстеры, выполняли свою работу не день, не два, а ряд лет. Но если Ягода, Пятаков, Сокольников, Тухачевский и пр. были шпионами, куда годятся Сталин, Ворошилов и другие "вожди"? Какую цену имеют призывы о бдительности, исходящие от Политбюро, которое само обнаружило лишь глупость и слепоту?

Из последней "чистки" режим вышел настолько осрамленным, что органы мировой печати серьезно занялись гаданиями, не впал ли Сталин в безумие. Слишком простое решение вопроса! Сперва считалось, что Сталин оказался победителем, благодаря исключительным качествам своего интеллекта. Когда же рефлексы бюрократии приняли конвульсивный характер, вчерашние почитатели "вождя" начинают спрашивать себя, не сошел ли он с ума. Обе оценки ложны. Сталин не "гениален". В подлинном смысле слова, он даже не умен, если под умом понимать способность охватывать явления в их связи и развитии. Но он и не сумасшедший. Волна термидора подняла его наверх. Он сам поверил, что источник его силы в нем самом. Но каста выскочек, провозгласившая его гением, в короткий срок разложилась и загнила. Стране Октябрьской революции необходим другой политический режим. Положение правящей клики не оставляет более места для разумной политики. "Сумасшествие" не в Сталине, а в исчерпавшем себя режиме. В этом объяснении нет, однако, и тени морального оправдания Сталина. Он сойдет со сцены, как наиболее запятанная фигура человеческой истории.

В "СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ" НОРВЕГИИ

Почти полтора года, с июня 1935 по сентябрь 1936-го, мы прожили с женой в норвежской деревне Вексал, в 60-ти километрах от Осло, в семье редактора рабочей газеты К.Кнутсена. Место жительства было нам с самого начала указано норвежским правительством. Наша жизнь протекала как нельзя более размеренно и мирно, можно было бы сказать, мелкобуржуазно. К нам скоро привыкли. Отношения с окружающим населением установились почти безмолвные, но вполне дружественные. Раз в неделю мы, вместе с семьей Кнутсен, посещали ближайший кинематограф, где показывались позапрошлогодние сенсации Голливуда. Изредка нас посещали, преимущественно летом, иностранные друзья, в большинстве деятели левого крыла рабочего движения. Жизнь мира мы подслушивали по радио: этим волшебным и несносным инструментом мы начали пользоваться не больше как три года тому назад. Больше всего мы поражались, слушая административные разговоры советских бюрократов. Эти люди чувствуют себя в эфире, как у себя дома. Они повелевают, грозят, бранятся, не соблюдая элементарной осторожности в отношении государственных секретов.

Враждебные штабы извлекают, несомненно, наиболее ценную информацию из откровенности больших и малых советских "вождей". И все это творится в стране, где человек, заподозренный в оппозиции, рискует немедленно быть обвиненным в "шпионаже"!.. Центральным моментом каждого дня в Вексале было получение почты. Около часу пополудни мы нетерпеливо поджидали инвалида-почтальона, который доставлял нам — зимой на салазках, летом на велосипеде — тяжелую пачку газет и писем с марками всех частей света. Наша необычная корреспонденция причиняла немало бессонных ночей не только полицеймейстеру Хонейфоса, маленького соседнего городка с 4-тысячным населением, но и самому социалистическому правительству в Осло, о чем мы узнали, однако, лишь позже.

Как мы попали в Норвегию? Об этом необходимо сказать

несколько слов. Норвежская рабочая партия принадлежала раньше к Коминтерну, потом порвала с ним, — не только по вине Коминтерна, — но не вошла и во 2-й Интернационал, как слишком для нее будто бы оппортунистический. Когда партия (в 1935 г.) стала у власти, над ней тяготел еще ее вчерашний день. Я поспешил обратиться в Осло за визой, надеясь, что смогу в этой спокойной стране без помех заниматься своей литературной работой. После некоторых колебаний и трений на верхах партии правительство согласилось впустить меня в страну. Условие насчет "невмешательства во внутреннюю жизнь" и пр. я подписал без затруднений, так как отнюдь не собирался заниматься норвежской политикой.

При первом соприкосновении с верхами партии на меня пахло духом затхлого консерватизма, который так беспощадно обнажен в драмах Ибсена. Центральный орган партии "Арбайтербладет" ссылается, правда, не на Библию и не на Лютера, а на Маркса и Ленина, но остается насквозь пропитан той филистерской ограниченностью, к которой Маркс и Ленин питали непреодолимое отвращение... "Социалистическое" правительство главную свою амбицию полагало в том, чтоб как можно меньше отличаться от своих реакционных предшественников. Вся старая бюрократия оставалась на своих местах. К худу или к добру? Мне пришлось вскоре убедиться на собственном горьком опыте, что иные из буржуазных чиновников обладают более широким горизонтом и более высоким чувством собственного достоинства, чем господа "социалистические" министры. Если не считать полуофициального визита, нанесенного мне вскоре по моем приезде вождем партии Мартином Транмелем и министром юстиции Трюгве Ли, у меня с правительственными верхами не было никаких личных отношений.

С низами партии я также почти не встречался, чтоб не вызывать подозрений во вмешательстве в политику страны. Мы жили с женой, как уже сказано, крайне изолированно и не видели особых оснований жаловаться на это. С семьей Кнутсен у нас установились очень дружественные отношения, из которых политика была, по молчаливому взаимному согла-

шению, совершенно исключена, в промежутках между приступами болезни я работал над книгой "Преданная революция", в которой пытался выяснить причины победы советской бюрократии над партией, над Советами, над народом и наметить перспективы дальнейшего развития СССР.

5 августа 1936 года я отправил первые экземпляры законченной рукописи американскому и французскому переводчикам. В тот же день мы отправились вместе с четой Кнутсен в южную Норвегию, чтоб провести две недели у моря. Но уже на следующее утро, в пути, мы узнали, что в предшествующую ночь на нашу квартиру совершено было норвежскими фашистами нападение с целью овладеть моими архивами. Задача сама по себе не представляла никаких трудностей: дом никем не охранялся, и даже шкафы не запирались. Норвежцы до такой степени привыкли к спокойному ритму своей демократии, что даже от друзей нельзя было добиться соблюдения элементарных правил осторожности. Фашисты нагрянули в полночь, показали фальшивые полицейские значки и попытались немедленно приступить к "обыску". Оставшаяся дома дочь наших хозяев заподозрила неладное, не потерялась, стала с расprostертыми руками перед дверью моей комнаты и заявила, что никого не пропустит. Пять фашистов, еще неопытных в своем ремесле, опешили перед мужеством молодой девушки. Тем временем младший брат ее поднял тревогу. Показались в ночных одеяниях соседи. Потерявшие голову герои бросились наутек, захватив с ближайшего стола несколько случайных документов.

Полиция без труда установила на следующий день личность нападавших. Могло показаться, что жизнь снова войдет в спокойные берега. Продолжая путь на юг, мы скоро установили, что за нами по пятам следует автомобиль с четырьмя фашистами, под командой шефа пропаганды, инженера Н. Только под самый конец путешествия нам удалось отделаться от преследователей: мы попросту не допустили их автомобиль на паром, который перевозил нас на другую сторону фиорда. Сравнительно спокойно мы прожили около десятка дней на маленьком островке, в единственном рыболовном домике среди скал.

Тем временем близились выборы в стортинг. Каждый из лагерей искал сенсационного номера для своей не очень оригинальной программы. Издания правительственной партии (в Норвегии, где всего 3 миллиона населения, рабочая партия имеет 35 ежедневных газет и десятков еженедельных!) открыли кампанию против фашистов, в очень, впрочем, умеренных тонах. Правая печать ответила настоящей травлей против меня и против правительства, давшего мне визу. Мои политические статьи, беспрепятственно печатавшиеся в разных странах мира, тщательно подбирались теперь норвежской реакционной прессой, наспех переводились и перепечатывались одна за другой, под самыми сенсационными заголовками. Неожиданно я оказался в центре норвежской политики. В рабочих массах нападение фашистов вызвало необычайное возмущение. "Мы вынуждены лить масло на волны, — жаловались с глубокомысленным видом социал-демократические вожди. — Почему собственно? — Потому что иначе массы разнесут фашистов в куски".

Опыт ряда европейских стран решительно ничему не научил этих господ: они предпочитают ждать, когда фашисты разнесут в куски их самих. Я воздерживался от полемики даже в частных разговорах: каждое неосторожно сказанное слово рисковало попасть в печать. Не оставалось ничего другого, как пожимать плечами и выжидать. Еще в течение нескольких дней мы карабкались по скалам и ловили рыбу.

Тем временем на Востоке сгущались гораздо более грозные тучи. Оттуда собирались возвестить всему миру, что я работаю над низвержением Советов рука об руку с национал-социалистами. Налет на мои архивы и бешеная травля против меня фашистской печати явились для Москвы чрезвычайно некстати. Но нельзя же было останавливаться из-за таких пустяков! Наоборот, возможно, что под влиянием норвежских событий там решили даже ускорить инсценировку процесса. Незачем говорить, что советское посольство в Осло не теряло времени даром.

13 августа на наш островок прилетел из Осло на аэроплане начальник уголовной полиции Свэн, чтоб допросить меня в

качестве свидетеля по делу о налете фашистов. Столь спешный допрос был произведен по прямому распоряжению министра юстиции: уж это одно не предвещало ничего хорошего. Свэн показал мне захваченное у меня фашистами и уже опубликованное норвежской прессой письмо (совершенно невинное по содержанию) к одному из друзей в Париже и просил дать разъяснения по поводу моей деятельности в Норвегии. Полицейский чиновник мотивировал свои вопросы тем, что фашисты в оправдание ночного набега ссылаются на преступный характер моей деятельности. Один из фашистских адвокатов потребовал даже от государственного прокурора привлечения меня к ответственности за деяния, могущие "вовлечь Норвегию в войну с другими государствами".

Поведение самого Свэна было вполне корректно: он явно чувствовал неуместный характер вопросов, продиктованных ему сверху. В результате моих подробных показаний он заявил представителям печати, что не находит в моих действиях ничего противного законам или враждебного интересам Норвегии. Можно было снова подумать, что "инцидент исчерпан". На самом деле он только развертывался. Министр юстиции, недавний член Коммунистического Интернационала, нимало не сочувствовал либеральной слабости начальника уголовного розыска. Еще менее оказался склонен к снисходительности премьер Нигордсвольд. Он горел стремлением доказать твердую руку, — конечно, не против фашистов, учинивших налет на мою квартиру. Фашисты оставались на свободе под защитой демократической конституции.

14 августа ТАСС пустило по всему миру сообщение о раскрытии террористического заговора троцкистов и зиновьевцев. Первым из нас услышал по норвежскому радио это сообщение наш квартирохозяин Конрад Кнутсен. Но на островке не было электричества, антенны были очень примитивны и, как назло, аппарат работал в этот вечер из рук вон плохо. "Троцкистско-зиновьевские группы"... "контрреволюционная деятельность"... вот все, что Кнутсен мог уловить.

— Что это значит? — спросил он меня.

— Какая-нибудь крупная гадость со стороны Москвы! — ответил я.

— Но какая именно?

На рассвете прибыл из соседнего города Кристиансанда дружественный норвежский журналист с записью сообщения ТАСС.

Готовый ко многому, даже ко всему, я все же не верил глазам: сообщение показалось мне невероятным по сочетанию подлости, наглости и глупости.

— Хорошо, терроризм — это еще можно понять... Но гестапо... — повторял я в изумлении, — так и сказано: гестапо?

— Да, так и сказано.

— Значит, после недавнего нападения фашистов сталинцы обвиняют меня в союзе с фашистами?

— Да, выходит так...

— Нет, всему есть пределы: подобное сообщение мог составить только безграмотный и пьяный агент-provokator!..

Я немедленно продиктовал журналисту свое первое заявление по поводу предстоящего процесса. Надо было готовиться к борьбе, ибо близился грандиозный удар: ради второстепенных целей Кремль не стал бы компрометировать себя столь отвратительным подлогом.

Процесс застал врасплох не только мировое общественное мнение, но и Коминтерн. Норвежская коммунистическая партия, несмотря на всю враждебность ко мне, назначила открытое собрание протеста против налета фашистов на 14 августа... за несколько часов до того, как ТАСС причислил меня самого к фашистам. После этого французский орган Сталина "Юманите" опубликовал телеграмму из Осло о том, что фашисты нанесли мне ночью дружественный "визит" и что норвежское правительство усмотрело в этом ночном свидании вмешательство с моей стороны во внутреннюю политику страны. Эти господа отвыкли стесняться и, во всяком случае, готовы на все, чтоб оправдать свое жалованье.

Уже в своем первом заявлении печати я требовал гласного расследования московских обвинений. Дополнительно к своим показаниям я отправил Свэну письмо, предназначенное для печати.

"Давая мне визу, — писал я, — правительство этой страны знало, что я революционер и один из инициаторов создания нового Интернационала. Строго воздерживаясь от вмешательства во внутреннюю жизнь Норвегии, я не думал и не думаю, что норвежское правительство призвано контролировать мою литературную деятельность в других странах, тем более что нигде мои книги и статьи не были предметом судебного преследования. Моя переписка проникнута теми же идеями, что мои литературные работы. Они могут не нравиться фашистам или сталинцам, но тут я не могу ничего поделать. За последние дни имел, однако, место новый факт, отбрасывающий далеко назад все, что писала обо мне реакционная печать. Московское радио обвиняет меня в неслыханных преступлениях. Если бы хоть часть этих обвинений была верна, я действительно не заслуживал бы гостеприимства норвежского, как и всякого другого народа. Но по поводу московских обвинений я готов немедленно дать отчет перед любой беспристрастной следственной комиссией, перед любым открытым судом. Я берусь доказать, что преступниками являются сами обвинители".

Это письмо было опубликовано в большинстве норвежских газет. Надо отметить, что печать правительственной партии заняла с самого начала по отношению к московскому процессу позицию открытого недоверия. Мартин Транмель и его коллеги недаром принадлежали в недалеком прошлом к Коминтерну: они знали, что такое ГПУ и каковы его методы! К тому же настроение рабочих масс, всколыхнутых фашистским нападением, было целиком за меня. Правая печать совершенно потеряла голову: до вчерашнего дня она утверждала, что я действую в тайном союзе со Сталиным по подготовке восстаний в Испании, Франции, Бельгии и, конечно, в Норвегии. Она не отказывалась от этих обвинений и сегодня. В то же время она становилась на защиту московской бюрократии от моих террористических покушений.

К началу московского процесса мы успели вернуться с нашего острова в Вексал. По норвежским газетам я со слове-рем разбирал судебные отчеты ТАСС. Чувство было такое,

точно попал в дом буйно помешанных. Нашу квартиру и наш телефон осаждали журналисты. Норвежское телеграфное бюро пока что добросовестно передавало мои опровержения, которые расходились по всему миру. Как раз в этот момент прибыли на помощь мне молодые друзья. уже и в прошлом выполнявшие обязанности моих секретарей: Эрвин Вольф из Чехословакии и Жан ван-Ейженорт из Франции. Они оказались совершенно незаменимы в те тревожные и горячие дни, когда мы жили ожиданием двух развязок, из которых одна подготавливалась в Москве, а другая — в Осло.

Без убийства обвиняемых никто не принял бы обвинения всерьез. Я с уверенностью ждал расстрелов, как неминуемого финала. И тем не менее, когда я по парижскому радио услышал (голос спикера дрогнул, когда он сообщал эту весть), что Сталин расстрелял всех подсудимых, в том числе четырех старых членов большевистского ЦК, я с трудом поверил сообщению. Не жестокость расправы сама по себе потрясала: эпоха революций и войн — жестокая эпоха, и она есть наше отечество во времени. Потрясали холодная злонамеренность подлога, нравственный гангстеризм правящей клики, попытка обмануть общественное мнение всего человечества в лице нынешнего и грядущих поколений.

Мировая печать всех направлений встретила московский процесс с явным недоверием. Даже профессиональные "друзья" растерянно молчали. Из Москвы не без труда раскачивали разветвленную сеть подчиненных, полуподчиненных и "дружественных" организаций. Международная машина клеветы постепенно приходила в движение: в смазочных материалах недостатка не было. Главным передаточным механизмом служил, разумеется, аппарат Коминтерна. Норвежская коммунистическая газета, которая еще накануне оказалась вынужденной взять меня под защиту от фашистов, сразу переменяла тон. Теперь она требовала от правительства, чтоб меня выслали из страны и прежде всего, чтобы мне зажали рот. Функции нынешней печати Коминтерна известны: когда она свободна от второстепенных поручений советской дипломатии, она выполняет наиболее грязные задания ГПУ. Те-

леграф между Москвой и Осло работал без остановки. Ближайшая задача состояла в том, чтоб помешать мне разоблачить подлог. Усилия не пропали даром. В норвежских правительственных сферах произошел перелом, которого широкие круги партии сперва не заметили, а затем не поняли. О наиболее интимных пружинах этого перелома мы узнаем не скоро...

26 августа после того как наш двор был занят восьмью полицейскими в штатском, на квартиру к нам явились начальник норвежской полиции Асквиг и чиновник Центральной паспортной конторы, в руках которой сосредоточено наблюдение за иностранцами. Высокие посетители предложили мне подписать заявление о моем согласии на новые условия пребывания в Норвегии: отныне я обязуюсь не писать на актуальные политические темы, не давать интервью и выражаю сверх того — свое согласие на то, чтобы вся моя корреспонденция, входящая и исходящая, просматривалась полицией. Ни словом не упоминая о московском процессе, документ, в качестве доказательства моей преступной деятельности, приводил лишь мою статью о французских делах, напечатанную в американском еженедельнике "Nation"* и мое собственное открытое письмо начальнику уголовного розыска Свэну.

Было совершенно очевидно, что норвежское правительство пользуется первым попавшимся предлогом, чтоб прикрыть действительные причины своего поворота. Только позже я понял, зачем правительству понадобилась моя подпись: норвежская конституция не предусматривает никаких ограничений для лиц, неопороченных по суду. Находчивому министру юстиции не оставалось ничего другого, как исправить пробел в основных законах при помощи моего "добровольного" ходатайства о наложении на меня ручных и ножных кандалов. Я наотрез отказался. Министр немедленно поручил передать мне, что отныне журналисты и вообще посторонние лица не будут допускаться ко мне; новое местожительство будет мне и моей жене вскоре указано правительством. Я попытался разъяснить министру письменно некоторые простые истины: чиновник, заведующий паспортами, вовсе не

* Следуя за оригиналом, редакция оставляет ряд собственных имен без перевода на русский язык.

компетентен контролировать мою литературную деятельность; к тому же ограничивать свободу моих сношений с печатью в момент, когда я являюсь мишенью злонамеренных обвинений, значит, становиться на сторону обвинителей. Все это было правильно, но у советского посольства нашлись более сильные аргументы.

На другое утро полицейские отвезли меня в Осло для допроса все еще в качестве "свидетеля" по делу о налете фашистов. Следователь проявил, однако, очень мало интереса к налету. Зато в течение двух часов он допрашивал меня о моей политической деятельности, о моих связях и о моих посетителях. Длительные прения завязались вокруг вопроса о том, критикую ли я в своих статьях правительства других государств. Я этого, разумеется, не отрицал. Судья находил, что такая критика противоречит данному мною обязательству избегать действий, враждебных другим государствам. Я отвечал, что правительство и государство отождествляются только в тоталитарных странах. Демократический режим не рассматривает критику правительства как нападение на государство. Что случилось бы в противном случае с парламентаризмом? Единственный разумный смысл подписанного мною условия был тот, что я обязался не превращать Норвегию в операционную базу для какой-либо нелегальной, заговорщической деятельности. Но мне и в голову не могло прийти, что, находясь в Норвегии, я не могу публиковать в других странах статей, не противоречащих законам этих стран. У судьи были, однако, на этот счет другие взгляды или, по крайней мере, другие директивы, не вполне, правда, членораздельные, но зато, как оказалось, достаточные для моего интернирования.

Из судебного помещения меня провели к министру юстиции, который принял меня в окружении высоких чинов своего министерства. Мне опять предложено было подписать, лишь с незначительными изменениями, то самое ходатайство о гласном полицейском надзоре, которое я отверг накануне.

— Если вы хотите арестовать меня, зачем вам мое разрешение?

— Но между арестом и полной свободой есть промежуточное положение, — многозначительно ответил министр.

— Промежуточное положение есть экивок или ловушка: я предпочитаю арест!

Министр пошел мне навстречу и тут же отдал надлежащие распоряжения. Полицейские грубо оттолкнули Эрвина Вольфа, который был со мной вместе на допросе и собирался сопровождать меня домой. Четверо констеблей уже по форме доставили меня в Вексал. Во дворе я увидел, как другие полицейские, держа за плечи Ван-Эйженорта, толкают его к воротам. В тревоге выбежала из дому жена. Меня держали в запертом автомобиле, чтоб подготовить в квартире нашу изоляцию от семьи Кнутсен. Полицейские заняли столовую и выключили телефон. Отныне мы содержались на положении арестованных. Хозяйка дома приносила нам пищу под надзором двух полицейских. Двери в нашу комнату всегда оставались полуоткрытыми.

2 сентября нас перевезли в новое помещение, Sundby, в деревне Storsand в 36-ти километрах от Осло, на берегу фиорда, где мы оставались три месяца и двадцать дней под надзором тринадцати полицейских.

Наша корреспонденция шла через Центральную паспортную контору, которая не видела основания спешить. Никто не допускался к нам на свидание. Чтоб оправдать этот режим, не имеющий опоры в норвежской конституции, правительству пришлось провести особый исключительный закон. Что касается моей жены, то она была арестована даже без попытки объяснения.

Норвежские фашисты могли, казалось, праздновать победу. На самом деле победа была одержана не ими. Тайна нашего интернирования по существу проста. Московское правительство пригрозило бойкотом норвежского торгового флота и сразу дало почувствовать силу этой угрозы на деле. Судовладельцы бросились к правительству: сделайте что угодно, но верните нам немедленно советские заказы!

Норвежский торговый флот, четвертый по величине в мире, занимает решающее место в жизни страны, и судовладель-

цы определяют ее политику независимо от правительственных смен. Сталин воспользовался монополией внешней торговли, чтоб помешать мне разоблачить подлог. Крупный норвежский капитал пришел ему на помощь. В свое оправдание социалистические министры сказали: "Не можем же мы жертвовать жизненными интересами населения ради Троцкого!" Такова подлинная причина нашего ареста.

17 августа, т.е. уже после того как фашисты опрокинули ушат своих разоблачений, а Москва — ушат своих обвинений, Мартин Транмель писал в "Арбайтербладет": "Во время своего пребывания в нашей стране Троцкий точно выполнял условия, которые были ему поставлены при въезде в Норвегию".

Между тем по обязанностям редактора Транмель лучше, чем кто бы то ни было, знал о моей литературной деятельности, в том числе и о тех статьях, которые через несколько дней послужили основой для доклада паспортной конторы. Но как только доклад был одобрен правительством (которое само же заказало этот доклад... по предварительному заказу Москвы), Транмель сразу понял, что во всем виновен Троцкий. В самом деле, почему он не отказался от своих взглядов или, по крайней мере, от их открытого выражения? Тогда он мог бы спокойно наслаждаться благами норвежской демократии.

Здесь уместна, может быть, маленькая историческая справка. 16 декабря 1928 года, в Алма-Ате, в Центральной Азии, специальный уполномоченный ГПУ, прибывший из Москвы, предъявил мне требование отказаться от политической деятельности, угрожая в противном случае репрессиями. "Предъявленное мне требование отказаться от политической деятельности, — писал я в ответ ЦК партии, — означает требование отречения от борьбы за интересы международного пролетариата, которую я веду без перерыва тридцать два года, то есть в течение всей своей сознательной жизни... Величайшая историческая сила оппозиции, при ее внешней слабости в настоящий момент, состоит в том, что она держит руку на пульсе мирового исторического процесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготавливает его. Отказаться от политической деятельности значило бы отказаться от подготовки завтрашнего дня...

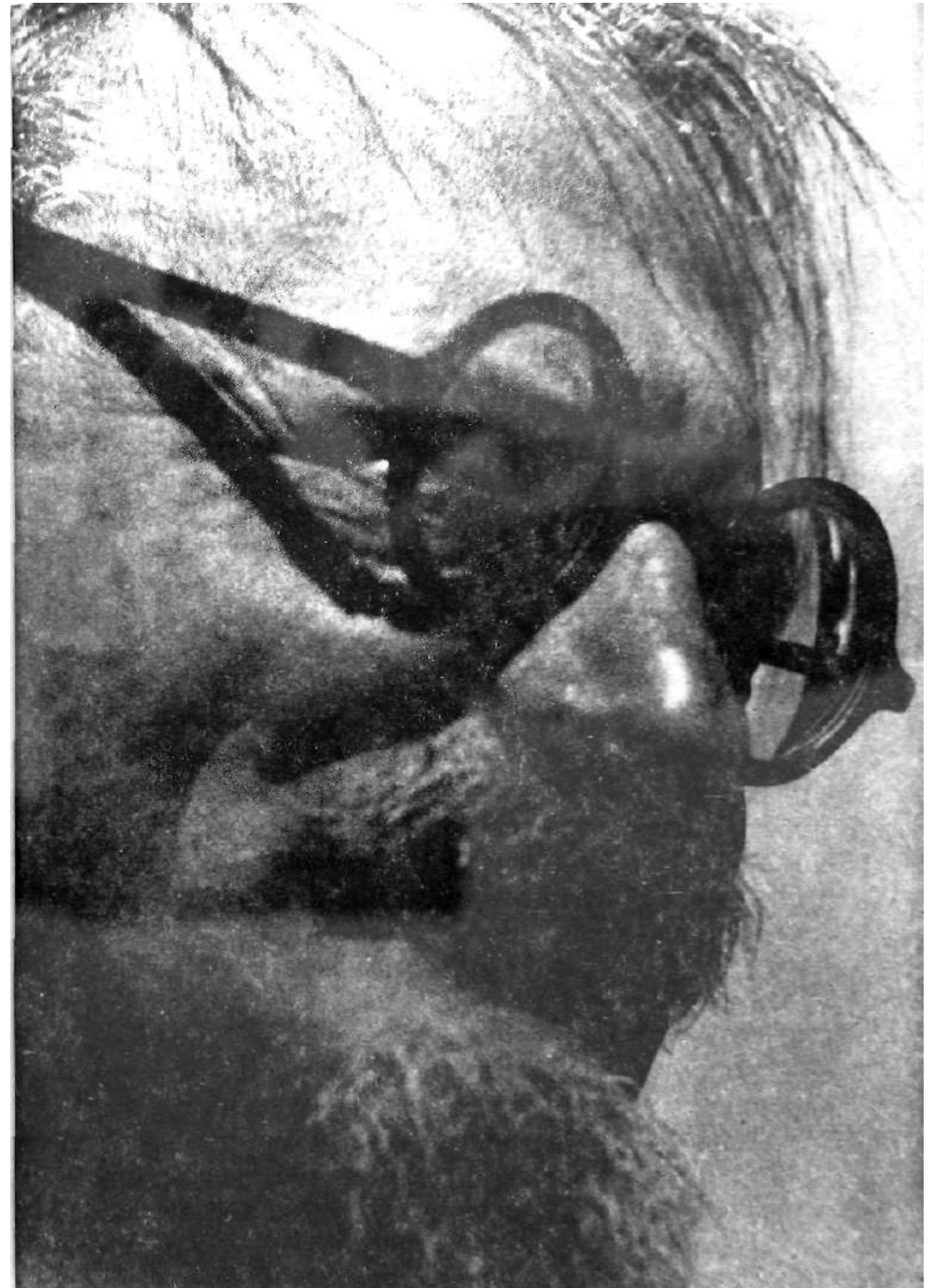
В "Заявлении", поданном VI конгрессу Коминтерна мы, оппозиционеры, как бы предвидя предъявленный мне сегодня ультиматум, писали дословно: "Требовать от революционеров отказа от политической деятельности могло бы только вконец развращенное чиновничество. Давать такого рода обязательства могли бы только презренные ренегаты". Я не могу ничего изменить в этих словах".

В ответ на это заявление Политбюро постановило выслать меня в Турцию. Так, за несогласие отказаться от политической деятельности я заплатил изгнанием. Теперь норвежское правительство требовало от меня, чтоб за право находиться в изгнании я заплатил... отказом от политической деятельности. Нет, господа демократы, на это я не мог согласиться!

В только что цитированном письме Центральному Комитету я высказывал уверенность, что ГПУ собирается посадить меня в тюрьму. Я ошибся: Политбюро ограничилось изгнанием. Но чего не осмелился сделать Сталин в 1928 году, то сделали норвежские "социалисты" в 1936 году. За отказ прекратить легальную политическую деятельность, составляющую смысл моей жизни, они посадили меня в тюрьму. Правительственный официоз оправдывался тем, что времена, когда эмигранты-классики Маркс, Энгельс, Ленин писали, что хотели, в том числе и против правительств тех стран, которые дали им убежище, давно отошли в прошлое. "Мы живем сейчас при совсем других отношениях, и Норвегия должна с ними считаться".

Неоспоримо, что эпоха монополистского капитала беспощадно помяла демократию и ее гарантии. Но меланхолическая фраза Мартина Транмеля не дает ответа на вопрос, каким образом социал-демократы рассчитывают использовать эту потрепанную демократию для социалистического преобразования общества? К этому надо еще прибавить, что ни в какой другой демократической стране невозможно было бы такое издевательство над элементарными нормами права, как в "социалистической" Норвегии.

28 августа нас интернировали, а 31 августа издано было



так называемое "Королевское постановление", дающее правительству право подвергать заключению "нежелательных" иностранцев. Если даже считать такое постановление законным (а юристы это оспаривают), то, во всяком случае, в течение трех дней в Норвегии царил режим маленького государственного переворота. Но это были только цветочки — ягодки предстояли впереди.

* * *

Первые дни заключения воспринимались почти, как дни блаженного отдыха после небывалого напряжения "московской" недели. Хорошо было остаться одним, без новостей, без телеграмм, без писем, без телефонных звонков, без посторонних лиц. Но как только прибыли первые газеты, интернирование превратилось в пытку. Поразительно, какое место занимает ложь в нашей общественной жизни! Даже самые простые факты передаются чаще всего в искаженном виде. Но я имею здесь в виду не обычные, будничные искажения, вытекающие из противоречий социальной жизни, мелких антагонизмов и несовершенств психики. Гораздо страшнее та ложь, на службе которой становятся грандиозные государственные аппараты, подчиняющие себе всех и все. Такую работу мы наблюдали уже во время последней войны. Но тогда еще не было тоталитарных режимов. В самой лжи оставался еще элемент застенчивости и дилетантизма. Не то теперь, в эпоху сплошной, абсолютной, тоталитарной лжи, которая пользуется монолитной прессой и монолитным радио для массового отравления общественной совести.

В первые недели заключения мы сидели, правда, без радио. Надзор над нами находился в руках начальника "Главной паспортной конторы" Констада, которого либеральная пресса характеризовала из вежливости, как п о л у ф а ш и с т а . К капризному произволу он присоединял вызывающую грубость.

Озабоченный единством полицейского стиля Констад решил, что радио несовместимо с режимом интернирования. В правительстве победило, однако, на этот раз либеральное

течение, и мы получили радиоаппарат. Бетховен мирил со многим. Но Бетховен попадался редко. Чаще всего мы наталкивались на Геббельса, Гитлера или на ораторов московской радиостанции. Маленькая квартира, с невысокими потолками, сразу наполнялась густыми клубами лжи. Московские ораторы на разных языках лгали в разное время дня и ночи об одном и том же: они объясняли, как и почему я организовал убийство Кирова, о существовании которого я при жизни его думал не многим больше, чем о существовании какого-либо из китайских генералов.

Бездарный и невежественный оратор повторял бессмысленный набор фраз, соединенных вместе только липкой ложью. "При помощи союза с гестапо Троцкий хочет добиться разгрома демократии во Франции, победы генерала Франко в Испании, крушения социализма в СССР и прежде всего гибели нашего любимого, великого, гениального..."

Голос оратора звучит тускло и вместе нагло. Совершенно очевидно, что этому стандартному клеветнику нет никакого дела ни до Испании, ни до Франции, ни до социализма. Он думает о бутерброде. Невозможно было больше двух-трех минут подвергать себя этой пытке. Несколько раз на день в голову приходил один и тот же непочтительный вопрос: неужели человечество так глупо? Почти столь же часто мы обменивались с женой фразой: "Все-таки нельзя было думать, что они так подлы".

Сталин совсем не гоняется за правдоподобностью. В этой области он вполне усвоил психотехнику фашизма: задушить критику массивностью и монолитностью лжи. Возражать? Опровергать? В возражениях недостатка не было.

В находившихся при мне бумагах, в моей памяти, в памяти жены были неоценимые данные для разоблачения московского подлога. И днем и ночью в голову приходили факты — сотни фактов, тысячи фактов, — каждый из которых ниспровергал какое-либо из обвинений или "добровольных признаний".

Еще в Вексале, до интернирования я в течение трех дней диктовал по-русски брошюру о московском процессе. Теперь

я оставался без технической помощи, писать приходилось от руки. Но не в этом было главное затруднение. Пока я в тетради набрасывал свои возражения, тщательно проверяя цитаты, факты, даты и, сотни раз повторяя про себя: не постыдно ли, не унижительно ли возражать на такие невообразимые гнусности? — ротационные машины всего мира извергали новые потоки апокалиптической лжи, а московские спикеры отравляли эфир.

Какова будет судьба моей рукописи? Пропустят ее или нет? Тягостнее всего была полная неопределенность положения. Министр-президент вместе с министром юстиции склонялись, видимо, к законченному тюремному режиму. Другие министры боялись отпора снизу. Ни на один вопрос о своих правах я не получал ответа. Если б, по крайней мере, твердо знать, что мне запрещена какая бы то ни была литературная работа, в том числе и самозащита, я сложил бы временно оружие и читал бы Гегеля (он лежал у меня на полке). Но нет, правительство прямо ничего не запрещало. Оно только конфисковывало рукописи, которые я направлял адвокату, сыну, друзьям. После нескольких дней напряженной работы над очередным документом ждешь, бывало, с нетерпением ответа от адресата. Проходит неделя, нередко две. Старший констебль приносит в полдень бумагу за подписью Констада, извещающую, что такие-то и такие-то письма и документы признаны неподлежащими отправлению. Никаких объяснений, только подпись. Но зато какая подпись! Я должен воспроизвести ее здесь во всем ее неподдельном величии.

Не нужно было быть графологом, чтоб догадаться, кому правительство вверило нашу судьбу!

В руках Констада был сосредоточен, впрочем, лишь контроль над нашими душами (радио, переписка, газеты). Непосредственная власть над телами вручена была двум старшим полицейским чиновникам: Асквигу и Ионасу Ли. Норвежский писатель Хельге Крог, которому можно вполне довериться, называет всех трех фашистами. Правда, Асквиг и Ли держали себя приличнее Констада. Но политическая кар-

тина от этого не меняется. Фашисты нападают на мою квартиру. Сталин обвиняет меня в союзе с фашистами. Чтоб помешать мне разоблачить подлог, он добивается от своих демократических союзников моего интернирования. Суть интернирования состоит в том, что меня и мою жену отдают в руки трех фашистских чиновников. Лучшей расстановки фигур не выдумает никакая шахматная фантазия!

Я не мог все же пассивно претерпевать отвратительные обвинения. Что оставалось мне? Попытаться привлечь к судебной ответственности местных сталинцев и фашистов за клевету в печати, чтоб доказать на процессе ложность московских обвинений. Но в ответ на эту попытку бдительное правительство издало 29 октября новый исключительный закон, согласно которому министр юстиции получил право запретить "интернированному иностранцу" ведение каких бы то ни было процессов. Министр немедленно же воспользовался этим правом. Так, первое беззаконие послужило фундаментом для второго. Почему правительство пошло на такую скандальную меру? Все по той же причине. Ословская "коммунистическая" газетка, еще накануне пресмыкавшаяся перед социалистическим правительством во праже, извергала теперь по его адресу неслыханно наглые угрозы. Покушение Троцкого на "престиж советского суда" неминуемо нанесет хозяйству Норвегии неисчислимые убытки! Престиж московского суда? Но он мог пострадать только в одном случае: если б мне удалось перед норвежским судом доказать ложность московских обвинений. Именно этого-то в Кремле смертельно боялись. Я сделал попытку привлечь клеветников в других странах (Чехословакия и Швейцария). Реакция не заставила себя ждать: 11 ноября министр юстиции известил меня грубым по форме письмом (норвежские социалистические министры считают, видимо, грубость атрибутом твердой власти), что мне запрещено ведение где бы то ни было каких бы то ни было процессов. Если я хочу добиваться своих прав в другом государстве, я должен "покинуть почву Норвегии". Эти слова представляли собой едва замаскированную угрозу высыл-

ки, то есть фактической выдачи в руки ГПУ. Так я истолковал этот документ в письме к своему французскому адвокату Ж.Розенталю. Пропустив беспрепятственно мое письмо, норвежская цензура подтвердила тем самым мое толкование. Встревоженные друзья стали стучаться во все двери, ища для меня визы. В результате этих усилий открылась дверь далекой Мексики... Но об этом в свое время.

Стояла дождливая и туманная осень. Трудно передать тягостную атмосферу в деревянном доме Sundby, где весь нижний этаж и половина верхнего заняты были тяжеловесными и медлительными полисменами, которые курили трубки, играли в карты, а в полдень приносили нам газеты, исполненные клеветы, или послания Констада, с его фатальной подписью. Что будет дальше? Где выход? Еще 15 сентября я сделал попытку предупредить через печать общественное мнение о том, что после политического крушения первого процесса Сталин вынужден будет поставить второй. Я предсказывал, в частности, что ГПУ попытается перенести на этот раз операционную базу заговора в Осло. Своим предупреждением я надеялся перерезать ГПУ дорогу, помешать второму процессу, может быть, спасти новую группу обвиняемых. Тщетно! Мое заявление было конфисковано. В виде письма к сыну, я написал ответ на сикофантскую брошюру британского адвоката Притта. Но так как "королевский советник" пламенно защищал ГПУ, то норвежское правительство сочло себя обязанным защищать Притта: моя работа оказалась задержана.

Я обратился с письмом в бюро Профсоюзного Интернационала, указывая в числе прочего, на трагическую судьбу Томского, бывшего главы советских профессиональных союзов, и требуя энергичного вмешательства. Министр юстиции конфисковал и это письмо. Кольцо притеснений сжималось со дня на день. Нас скоро лишили прогулок вне маленького двора. Посетители к нам не допускались. Письма и даже телеграммы задерживались цензурой на неделю и более. Министры позволяли себе глумления над арестованным в газетных интервью.

Норвежский писатель Хельге Крог отмечал, что в свои пре-

следования против меня правительство чем дальше, тем больше вносило элемент личной ненависти, и прибавлял: "Это совсем не редкое явление, что люди ненавидят того, перед кем они виноваты"...

Сейчас, когда я оглядываюсь на период интернирования, я не могу не сказать, что никогда и ни с чьей стороны в течение всей своей жизни, — а мне пришлось выдать многое — я не подвергался такому циничному издевательствам, как со стороны норвежского "социалистического" правительства. С гримасами демократического ханжества эти господа четыре месяца держали меня за горло, чтоб помешать мне протестовать против самого грандиозного из всех исторических преступлений.

ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ

Норвежское правительство собиралось первоначально поставить процесс фашистов, вторгшихся в мою квартиру за две недели перед выборами, в качестве выигрышного номера. Правительственная печать утверждала, что преступникам грозит несколько лет тюремного заключения. Но после того как под замок попали мы с женой, правительство отодвинуло процесс фашистов, чтоб дать пройти выборам, а министр юстиции характеризовал ночное нападение, как "мальчишескую шалость". О, священные нормы правосудия! Дело фашистов рассматривалось окружным судом в Драммене уже после выборов.

11 декабря я был вызван в качестве свидетеля. Правительство, которое не ждало от моих показаний ничего хорошего ни для себя, ни для своих грозных союзников в Москве, потребовало закрытия дверей суда и не встретило, разумеется, отказа. Подсудимые — типичные представители деклассированной мелкобуржуазной молодежи — являлись на суд из своих квартир в качестве свободных граждан. Лишь меня — потерпевшего и "свидетеля" — привозили под охраной дюжины полицейских.

Скамьи для публики стояли пустыми; только мои охранители рассаживались здесь и там. Справа от меня сидели плачевные герои ночного набега; они слушали меня с напряженным интересом. Скамьи слева заняты были восемнадцатью присяжными и кандидатами, отчасти рабочими, отчасти мелкими буржуа. Председатель запретил им вести во время моих показаний какие бы то ни было записи. Наконец, за спинами судей разместилось несколько высоких сановников. Закрытые двери дали мне возможность с полной свободой отвечать на все вопросы. Председатель ни разу не остановил меня, хотя я дал ему для этого немало поводов в течение своих показаний, длившихся (вместе с переводом) — я говорил по-немецки — свыше четырех часов. У меня нет, разумеется, стенограммы заседания, но я ручаюсь за почти дословную точность дальнейшего текста, записанного по свежей памяти, на основании предварительного конспекта. Показания даны мною под судебной присягой. Я отвечаю за них полностью. Если "социалистическое" правительство закрыло двери суда, то я хочу открыть не только двери, но и окна.

Вокруг интернирования

После формальных вопросов председателя о личности свидетеля допрос переходит сразу в руки фашистского адвоката В.,* защитника подсудимых.

— Каковы те условия, на каких свидетель был допущен в Норвегию? Не нарушил ли их свидетель? Что явилось причиной его интернирования?

— Я обязался не вмешиваться в норвежскую политику и не вести из Норвегии действий, враждебных другим государствам. Я выполнял оба обязательства безукоризненно. Даже Центральная паспортная контора признала, что я не вмешивался в норвежские дела. Что касается других государств, то моя деятельность имела литературный характер. Правда,

* Я не вижу основания делать рекламу этим господам, называя полностью их имена.

все что я пишу, носит марксистский, следовательно, революционный характер. Но правительство, которое само подчас ссылается на Маркса, знало о моем направлении, когда давало мне визу. Мои книги и статьи всегда печатаются за моей подписью и ни в каком государстве не подвергались преследованиям.

— Но разве министр юстиции не разъяснил свидетелю смысл условий во время своего визита в Вексал?

— Министр юстиции действительно нанес мне визит вскоре после моего приезда в Норвегию. С ним находились Мартин Транмель, вождь норвежской рабочей партии, и Колбьернсон — официальный журналист. Не без застенчивой улыбки министр юстиции упомянул о том, что правительство надеется, что в моей деятельности не будет "шипов", направленных против других государств. Слово "шип" показалось мне не очень вразумительным, но так как министр говорил на ломаном немецком языке, то я не настаивал. В основном дело представлялось мне так: реакционные филистеры воображают, что я собираюсь превратить Норвегию в операционную базу для заговоров, транспорта оружия и прочих страшных вещей. На этот счет я мог с чистой совестью успокоить господ филистеров, в том числе и "социалистических". Но мне не могло и в голову прийти, что под недопустимыми "шипамии" понимается политическая критика. Я считал Норвегию цивилизованной и демократической страной... и не хочу отказываться от этого взгляда и сейчас.

— Но разве министр юстиции не заявил свидетелю, что ему не разрешается опубликование статей на актуальные политические темы?

— Такое толкование условий показалось бы в те дни неприличным самому министру юстиции. Я политический писатель, вот уже сорок лет. Это моя профессия, господа судьи и присяжные заседатели, и в то же время содержание моей жизни. Неужели же правительство могло всерьез потребовать от меня, чтоб я в благодарность за визу отказался от своих взглядов или от их изложения? Нет, правительство клеветает ныне на себя задним числом... К тому же немедленно после

короткого объяснения с министром юстиции насчет таинственных "шипов" Колбьернсон тут же попросил меня дать интервью для "Арбайтербладет". Я спросил в шуточной форме министра юстиции:

— А не будет ли интервью истолковано, как мое вторжение в норвежскую политику?

Министр ответил буквально следующее:

— Нет, мы вам дали визу, и мы должны вас представить нашему общественному мнению.

Кажется ясно?

После этого в присутствии министра юстиции и Мартина Транмеля и с их молчаливого одобрения я в ответ на заданные мне вопросы заявил, что советская дипломатия оказывала преступную помощь Италии в итало-абиссинской войне; что московское правительство вообще стало консервативным фактором; что правящая каста занимается систематической фальсификацией истории для возвеличения самой себя; что европейская война неизбежна, если ее не остановит революция, и т.д.

Я не знаю, можно ли в этом интервью, напечатанном в "Арбайтербладет" 26 июля 1935 года, найти розы, но "шипов" в нем достаточно! Позвольте сослаться еще и на тот факт, что моя "Автобиография" опубликована в Норвегии всего несколько месяцев тому назад издательством правительственной партии. В предисловии к этому изданию бичуется византийский культ непогрешимого "вождя", бонапартистский произвол Сталина и его клики и проповедуется необходимость свержения бюрократической касты. Там же разъясняется, что именно борьба против советского бонапартизма является причиной моей третьей эмиграции. Другими словами, если бы я согласен был отказаться от этой борьбы, у меня не было бы причины искать норвежского гостеприимства... Однако и это еще не все, гг. судьи и присяжные! 21 августа, всего за неделю до интернирования, "Арбайтербладет" опубликовала на первой странице обширное интервью со мной под заголовком: "Троцкий показывает, что московские обвинения вымышлены и сфабрикованы". Члены правительства, надо полагать,

читали мои обличения московского подлога. Однако постановление об интернировании, изданное через неделю, ссылалось не на злободневное интервью, состоявшее из одних "шипов", а на мои старые статьи, напечатанные во Франции и Соединенных Штатах. Фальшь бросается здесь прямо в глаза! Я могу, наконец, сослаться на свидетельство министра иностранных дел Кота, который заявил на одном из избирательных собраний, дней за десять до моего интернирования: "Конечно, правительство знало, что Троцкий будет и впредь писать свои политические статьи ("политические хроники") но правительство считало своим долгом оставаться верным демократическому принципу права убежища". Речь г-на Кота напечатана в официозе правительства. Вы все читали ее. Публичное свидетельство министра иностранных дел уличает министра юстиции в прямой неправде. Пытаясь в последний момент скрыть действительное положение от общественного мнения, министр юстиции конфисковал у моих секретарей мое письмо, в котором я рассказывал о первом политическом интервью с его активным участием, и в самой грубой форме выслал обоих моих сотрудников из Норвегии. Почему? За что? Они даже не эмигранты. У них безупречные паспорта. Кроме того, — и это важнее — они безупречные люди. Под видом убежища норвежское правительство подставило мне, господу судьи, ловушку. Я не могу этого иначе назвать. Разве не чудовищно, что полицейское учреждение, призванное проверять паспорта иностранцев, — паспорта! — берет на себя задачу контролировать мою научную и литературную деятельность, притом за пределами Норвегии? Если б дело зависело от господ Трюгве Ли и Констадов, ни "Коммунистический манифест", ни "Капитал", ни другие классические произведения революционной мысли не увидели бы света: ведь это произведения политических эмигрантов! В качестве наиболее яркого примера моей злой деятельности правительство приводит мою статью, легально напечатанную во Франции и в Соединенных Штатах в буржуазном еженедельнике "Nation". Не сомневаюсь, что ни президент Соединенных Штатов, ни Леон Блюм не обращались к начальнику норвежской пас-

портной конторы за защитой от моих статей. Требование зажать мне рот исходило от Москвы. Но в этом норвежское правительство не хочет признаться, чтоб не обнаружить своей зависимости. Поэтому оно прикрыло свой произвол фальшью.

А д в о к а т В. Каково отношение свидетеля к Четвертому Интернационалу?

— Я являюсь сторонником, в известном смысле — инициатором этого международного течения и несу за него политическую ответственность.

— Значит, свидетель занимается и практической революционной работой?

— Отделить теорию от практики нелегко, и я меньше всего стремлюсь к этому. Но условия моего существования в нынешней "демократической" Европе таковы, что я не имею, к несчастью, возможности вмешиваться в практическую работу. Когда конференция организаций Четвертого Интернационала летом этого года выбрала меня заглазно в состав своего Совета, который, к слову сказать, имеет более почетный, чем практический характер, я особым письмом отклонил эту честь, именно для того, чтоб не давать Констадам разных стран повода для полицейских кляуз... Что касается розказней норвежской реакционной печати о том, что я являюсь инициатором восстания в Испании, стачек во Франции и Бельгии и пр., то я могу лишь презрительно пожать плечами. На самом деле инициатива восстания в Испании принадлежит единомышленникам подсудимых и их адвоката. Конечно, если б я имел возможность отправиться в Испанию для практической работы, я сделал бы это немедленно. Я отдал бы все силы, чтоб помочь испанским рабочим справиться с фашизмом, разгромить его, искоренить его. К несчастью я вынужден ограничиваться статьями или советами в письмах, когда те или другие лица или группы спрашивают моего совета... Чего, собственно, хочет фашистский адвокат? Мы находимся пред лицом суда, то есть такого учреждения, которое призвано карать за нарушения закона. Нарушил ли я закон? Какой именно? Вы знаете, гг.судьи и присяжные заседатели, что другой фашистский адвокат, г.Х., обратился к прокуратуре

с предложением возбудить против меня судебное преследование за мою "деятельность", не то литературную, не то террористическую. Жалоба была отклонена в двух инстанциях. Государственный прокурор Зунд, официальный страж законов этой страны, заявил в печати, что из всех материалов, какими он располагает, он не видит, чтобы Троцкий нарушил какой-либо норвежский закон или вообще подал повод к преследованиям против него. Это заявление сделано было 26 сентября, через пять недель после московского процесса и почти через месяц после моего интернирования. Нельзя не отдать должное твердости и мужеству господина государственного прокурора! Его заявление является явной демонстрацией недоверия к московским обвинениям и в то же время осуждением репрессий против меня со стороны норвежского правительства. Этого, думаю, достаточно!

А д в о к а т В. Известно ли свидетелю это письмо и кем оно было написано?

— Это письмо продиктовано мною моему секретарю и, очевидно, украдено (извиняюсь) господами обвиняемыми во время их непрошенного визита. Из самого текста письма видно, что в ответ на поставленные мне вопросы я высказываю свое мнение по поводу того, заслуживает ли известное мне лицо, г.Х., морального доверия или нет. И в этом случае я лишь подаю совет.

А д в о к а т В. (иронически). Только совет? А может быть, нечто большее, чем совет?

— Вы хотите сказать: приказание?

А д в о к а т утвердительно кивает головою.

— Это в партиях наци "вождь" решает и приказывает... несомненно, и в том случае, когда дело идет о ночном налете на квартиру. Подобные же нравы усвоил себе выродившийся Коминтерн. Принудительный культ слепого послушания создает рабов и лакеев, а не революционеров, Я не являюсь ни учреждением, ни миропомазанным вождем. Мои советы, всегда очень осторожные и условные, — ибо на расстоянии трудно оценить все факторы, — встречаются у заинтересованных

лиц то отношение к себе, какого они заслуживают по своей внутренней убедительности: никакой другой силы они не имеют... Молодые люди, похитившие это невинное письмо, рассчитывали, видимо, найти в моих архивах доказательства заговоров, переворотов и других злодеяний. Политическое невежество — плохой советник. В моих письмах нет ничего такого, чего нельзя найти в моих статьях. Мой архив дополняет мою литературную деятельность, но ни в чем не противоречит ей. Для тех, кто хочет обвинить меня...

Председатель. Вас здесь ни в чем не обвиняют. Вы приглашены в качестве свидетеля.

— Я это вполне понимаю, господин председатель. Но господин адвокат...

Адвокат В. Я ни в чем не обвиняю; мы только защищаемся.

— Да, конечно. Но вы защищаете ночное нападение на меня тем, что подхватываете и разогреваете всякую клевету против меня, откуда бы она ни исходила. Я защищаюсь против такой "защиты"!

Председатель. Это ваше право. Вы можете вообще отказываться отвечать на вопросы, которые способны причинить вам ущерб.

— Таких вопросов нет, господин председатель! Я готов отвечать на все вопросы, какие кому-либо будет угодно мне поставить. Я не заинтересован в закрытии дверей, о нет!.. Вряд ли на протяжении всей человеческой истории можно найти более грандиозный аппарат клеветы, чем тот, который приведен в движение против меня. Бюджет этой международной клеветы исчисляется миллионами в чистом золоте. Господа фашисты и так называемые "коммунисты" черпают свои обвинения из одних и тех же источников: ГПУ. Их сотрудничество против меня есть факт, который мы наблюдаем на каждом шагу, в том числе и в этом процессе. Мои архивы — одно из лучших опровержений всех направленных против меня инсинуаций и клевет.

Прокурор. В каком именно смысле?

— Позвольте разъяснить это с некоторой подробностью.

За границей находятся мои архивы, начиная с января 1928 года. Более старые документы — лишь в ограниченном числе. Но что касается последних девяти лет, все полученные мною письма и копии всех моих ответов (дело идет о тысячах писем!) находятся в моем распоряжении. В любой момент я могу предъявить эти документы любой беспристрастной комиссии, любому открытому суду. В этой переписке нет пробелов и пропусков. Она разворачивается изо дня в день с безупречной полнотой и своей непрерывностью отражает весь ход моей мысли и моей деятельности. Она просто не оставляет места ни для какой клеветы... Вы позволите мне, может быть, взять пример из более близкой некоторым присяжным заседателям области.

Представим себе человека религиозного, благочестивого, который всю жизнь стремится жить в тесном согласии с Библией. В известный момент враги при помощи фальшивых документов или лжесвидетелей выдвигают обвинение, будто этот человек занимается втайне атеистической пропагандой. Что скажет оклеветанный? "Вот моя семья, вот мои друзья, вот моя библиотека, вот моя переписка за много лет, вот вся моя жизнь. Перечитайте мои письма, писавшиеся самым различным лицам по самым различным поводам, допросите сотни людей, которые были в общении со мною в течение многих лет, и вы убедитесь, что я не мог вести работы, противной всему моему нравственному существу". Этот довод будет убедителен для всякого разумного и честного человека. (Председатель и некоторые присяжные утвердительно кивают головами.)

В аналогичном положении нахожусь и я. В течение сорока лет я словом и делом защищал идеи революционного марксизма. Моя верность этому учению, доказанная, смею думать, всей моей жизнью и, в частности, теми условиями, в каких я нахожусь теперь, создала мне большое число врагов. Чтоб парализовать влияние тех идей, которые я защищаю и которые находят все большее подтверждение в событиях нашей эпохи, враги прибегают к методам личного очернения: они пытаются навязать мне методы индивидуального террора или, еще ху-

же, союз с гестапо... Здесь отравленная злоба уже переходит в глупость. Критически мыслящие люди, знающие мое прошлое и настоящее, не нуждаются ни в каком расследовании, чтоб отвергнуть эти грязные обвинения. А всем тем, которые недоумевают и сомневаются, я предлагаю выслушать многочисленных свидетелей, изучить важнейшие политические документы и, в частности, расследовать мои архивы за весь тот период, который особенно пытаются очернить мои враги. ГПУ отдает себе безошибочный отчет в значении моих архивов и стремится овладеть ими какой угодно ценою.

Председатель. Что такое ГПУ? Присяжные заседатели этого названия не знают.

— ГПУ — это советская политическая полиция, которая в свое время была органом защиты народной революции, но превратилась в орган защиты советской бюрократии против народа. Ненависть ко мне бюрократии определяется тем, что я веду борьбу против ее чудовищных привилегий и преступного произвола. В этой борьбе и состоит суть так называемого "троцкизма". Чтоб разоружить меня пред лицом клеветы, ГПУ стремится овладеть моими архивами, хотя бы ценою грабежа, взлома и даже убийства.

Прокурор. Из чего это можно заключить?

— 10 октября я во второй или в третий раз написал своему сыну, живущему в Париже: "Не сомневаюсь, что ГПУ примет все, чтоб захватить мои архивы. Предлагаю немедленно передать парижскую часть архивов на хранение какому-либо научному учреждению, может быть, голландскому институту социальной истории, еще лучше — какому-либо американскому учреждению". Это письмо я послал, как и все другие, через паспортную контору: других путей у меня не было. Сын немедленно приступил к сдаче архивов парижскому отделению голландского исторического института.*

* Как я вижу из письменных показаний сына, врученных судебному следователю 19 ноября 1936 года, сын передал первую часть архивов еще до получения письма от 10 октября, руководствуясь моими предшествующими письмами, в которых я не раз выражал свои опасения насчет архивов, хотя и не в столь категорической форме.

Но после того как он сдал первую партию, институт подвергся ограблению. Похитители выжгли аппаратом большой силы дверь института, работали целую ночь, обыскали все полки и ящики, не взяли ничего, даже случайно забытых на столе денег, кроме 85-ти килограммов моих бумаг. Своим образом действий организаторы грабежа настолько разоблачили себя, как если бы начальник ГПУ оставил на месте преступления свою визитную карточку. Все французские газеты (кроме, разумеется, "коммунистической" "Юманите", которая является официозом ГПУ) открыто или замаскированно выразили свою уверенность в том, что ограбление совершено по приказанию Москвы. Отдавая дань технике ГПУ, парижская полиция заявила, что французские взломщики не владеют такой мощной аппаратурой... К счастью, парижские агенты ГПУ слишком поторопились и попали впросак: первая партия бумаг, сданная институту, составляла не более двадцатой части моих парижских архивов и состояла главным образом из старых газет, представляющих исключительно научный интерес; писем взломщики захватили, к счастью, очень мало... Но они на этом не остановятся. Я жду новых, более решительных покушений, может быть, и здесь, в Норвегии. Во всяком случае я позволяю себе обратить внимание судей на то обстоятельство, что ГПУ совершило набег на архивное помещение вскоре после того, как я назвал голландский исторический институт в письме, прошедшем через руки паспортной конторы. Не вправе ли я сделать предположение, что ГПУ имеет своих агентов в тех самых норвежских учреждениях, которые призваны контролировать мою переписку? Если так, то контроль превращается в прямую помощь взломщикам. Парижский набег агентов Сталина впервые навел меня на мысль о том, что инициатива покушения этих господ (жест в сторону обвиняемых) на мои архивы могла также исходить от ГПУ...

Председатель. На чем вы основываете ваше подозрение?

— Дело идет только о гипотезе. Я не раз спрашивал себя: кто внушил этим молодым людям план набега? Кто воору-

жил их столь совершенным военным аппаратом для подслушивания моих телефонных разговоров? Ведь норвежские наци, как показали последние выборы, пока еще ничтожная группа. Первоначальная моя мысль была: здесь замешано гестапо, которое хотело выудить таким путем моих единомышленников в Германии. Участие в этом деле гестапо остается для меня несомненным и сейчас.

Председатель. Каковы ваши основания?

— За последние недели перед покушением господина фашисты нередко посещали наш двор и даже нашу квартиру, чаще всего под видом покупателей дома... Поведение этих "покупателей" не раз возбуждало мои подозрения: сталкиваясь со мною во дворе или в доме, они делали вид, что не замечают меня: у них попросту не хватало решимости мне поклониться. Храбрость этих молодых людей вообще отставала от их злой воли: недаром они капитулировали перед одной мужественной девушкой — Иордис Кнутсен... За несколько дней до покушения к нам во двор пробрался иностранец в тирольском костюме и, когда увидел меня, сейчас же отвел глаза в сторону. На вопрос, чего ему нужно, он бессмысленно ответил: "купить хлеба", причем назвал себя туристом, австрийцем. Но у нас в доме жил в те дни австриец, который, выпроводив вежливо посетителя за ворота, сказал мне: этот субъект говорит не на австрийском, а на северно-немецком языке. Я не сомневаюсь, господина судьи, что подозрительный турист был инструктором в подготовке покушения.

Главный обвиняемый. Это был мекленбуржец. Он действительно был туристом и носил тирольские брюки. Ему было не больше восемнадцати лет... Никакого отношения к нашему плану он не имел. Мы встретились с ним случайно в гостинице.

— Ага! Подсудимый признает, следовательно, свою связь с тем мекленбуржцем, который почему-то выдавал себя за австрийца. Что касается возраста, то "туристу" было никак не менее 23-х лет. Ему незачем было искать хлеба у нас, когда есть булочки. Случайная встреча в гостинице? Я этому не верю. В заявлении подсудимого правдива лишь ссылка на ти-

рольские брюки... Что фашисты, особенно германские относятся ко мне с ненавистью, это они достаточно доказали. Во время травли против меня французской реакционной печати, главные материалы доставлялись из Германии. Когда гестапо при каком-то обыске нашло в Берлине пачку моих старых писем, еще из дофашистских времен, Геббельс расклеил по всей Германии афиши с разоблачением моей преступной деятельности. Мои единомышленники в Германии приговорены ко многим десяткам лет тюрьмы.

Адвокат В. Как давно?

— Арестуются и приговариваются все время, в том числе и в течение последних месяцев. Начиная с первых лет своего изгнания я не раз доказывал в брошюрах и статьях, что политика Коминтерна в Германии подготавливает победу наци. Тогда царил пресловутая теория "третьего периода". Сталин разрешился афоризмом: "социал-демократия и фашизм — близнецы, а не антиподы". Главным врагом из двух "близнецов" считалась, однако, социал-демократия. В борьбе с нею германские сталинцы доходили до прямой поддержки Гитлера (знаменитый прусский плебисцит). Вся политика Коминтерна представляла цепь преступлений. Я требовал единого фронта с социал-демократией, создания рабочей милиции и серьезной, а не театральной борьбы с вооруженными бандами реакции. В течение 1929-1932 годов была полная возможность справиться с движением Гитлера. Но нужна была политика революционной обороны, а не бюрократического тупоумия и хвастовства. Наци очень внимательно следили за внутренней борьбой в рядах рабочего класса и отдавали себе ясный отчет в опасности для них смелой политики единого фронта. В этом смысле можно вполне понять попытку гестапо овладеть при помощи своих норвежских единомышленников моей перепиской... Но возможно и другое объяснение, не менее вероятное. Подготавливая московский процесс, ГПУ не могло не интересоваться моими архивами. Устроить нападение через "коммунистов" значило бы слишком обнажить себя. Через фашистов удобнее. К тому же ГПУ имеет своих агентов в гестапо, как и гестапо имеет своих агентов в ГПУ. Как те,

так и другие, могли воспользоваться этими молодыми людьми для своих планов...

Адвокат В. (предъявляя ряд номеров "Бюллетеня русской оппозиции"). Является ли свидетель издателем этого журнала?

— Издателем в формальном смысле слова — нет. Но главным сотрудником. Во всяком случае, я несу полностью политическую ответственность за это издание...

Адвокат В. "Бюллетень" запрещен в России?

— Несомненно!

Адвокат В. Между тем в "Бюллетене" сказано, что идеи его имеют много сторонников в СССР. Следовательно, во время пребывания в Норвегии свидетель занимался нелегальной доставкой "Бюллетеня" в Россию?

— Лично я этим совершенно не занимался. Но не сомневаюсь, что "Бюллетень" и его идеи проникают в СССР. Какими путями? Самыми различными. За границей всегда находятся сотни и даже тысячи советских граждан (дипломаты, торговые представители, моряки, хозяйственники, техники, учащиеся, артисты, спортсмены). Многие из них читают "Бюллетень", правда, украдкой, но охотнее, чем официальную советскую прессу. Я слышал даже, что Литвинов всегда увозит с собой из-за границы в кармане сюртука свежий номер "Бюллетеня". Под присягой я этого, правда, заявить не могу, тем более что не хочу причинять неприятностей советскому дипломату. (Улыбки среди судей и присяжных.) Высокие сановники Кремля являются самыми надежными подписчиками "Бюллетеня", с которым они не раз полемизировали в своих официальных докладах; насколько удачно, это вопрос другой. Находя отчеты об этих докладах в советской печати, граждане стараются читать между строк. Всего этого, конечно, недостаточно, но это все же кое-что...

Московский процесс

После получасового перерыва адвокат В. хочет поставить свидетелю вопрос относительно московского процесса шест-

надцати и предъявляет официальный отчет о процессе на немецком языке.

Адвокат В. Что свидетель может сказать об источниках этого процесса?

— Вопрос слишком туманно поставлен. Мы находимся на суде. Адвокат — юрист. Дело идет не об "источниках". Вопрос должен быть сформулирован точно: верны ли обвинения, выдвинутые против меня на московском процессе? На этот вопрос я отвечаю: нет, они ложны. В них нет ни слова правды! Дело идет при этом не о судебной ошибке, а о злонамеренном подлоге. ГПУ готовило этот процесс в течение не менее десяти лет, начав свою работу задолго до убийства Кирова (1 декабря 1934 года), которое само явилось простой "аварией" в процессе подготовки.

К убийству Кирова я имею не большее отношение, чем любое лицо в этом зале. Не большее, господа судьи и присяжные заседатели! Ответственным организатором московского судебного подлога, этого величайшего политического преступления нашего времени, а может быть, и всех времен, является Сталин. (В зале царит сосредоточенное внимание.) Я хорошо сознаю вес своих заявлений и ответственность, какую я на себя беру. Я взвешиваю каждое слово, господа судьи!.. В печати можно на каждом шагу встретить попытки свести всю проблему к личной вражде между Сталиным и Троцким: "борьба за власть", "соперничество" и проч. Такое объяснение надо отвергнуть как поверхностное, неумное и прямо абсурдное. Многие десятки тысяч так называемых "троцкистов" подвергались в СССР в течение последних тринадцати лет жестоким преследованиям, отрывались от семей, от друзей, от работы, лишались огня и воды, нередко и жизни, — неужели все это ради личной борьбы между Троцким и Сталиным?

Я отдаю себе ясный отчет в тех затруднениях, какие испытывает иностранец, особенно юрист, перед лицом московского процесса. Верить официальным обвинениям, то есть тому, что старая гвардия большевизма превратилась в фашистов, совершенно невозможно. Весь ход процесса похож на кош-

мар. С другой стороны, непонятно, зачем советскому правительству понадобилась вся эта фантазмагория и какими путями оно добилось от обвиняемых фальшивых обвинений против себя самих.

Позвольте сказать, что подходить к московскому процессу с обычными критериями "здорового смысла" невозможно. Здравый смысл опирается на повседневный, будничныи опыт в мирных, нормальных условиях. Между тем Россия проделала величайший в истории социальный переворот. Новое внутреннее равновесие еще далеко не достигнуто. Общественные отношения, как и идеи, находятся в состоянии острого брожения.

Прежде всего, господа судьи и присяжные заседатели, необходимо понять основное противоречие, которое раздирает ныне общественную жизнь Советского Союза. Цель революции состояла в том, чтоб установить общество без классов, то есть без привилегированных и без обделенных. Такому обществу не нужно государственное насилие. Основатели режима предполагали, что все общественные функции будут выполняться посредством самоуправления граждан, без профессиональной бюрократии, возвышающейся над обществом. В силу исторических причин, о которых я здесь говорить не могу, нынешнее реальное строение советского общества находится в вопиющем противоречии с этим идеалом. Над народом поднялась самодержавная бюрократия. В ее руках власть и распоряжение богатствами страны. Она пользуется неимоверными привилегиями, которые растут из года в год. Положение правящей касты ложно в самой своей основе. Она вынуждена скрывать свои привилегии, лгать народу, прикрывать коммунистическими формулами такие отношения и действия, которые не имеют ничего общего с коммунизмом. Бюрократический аппарат не позволяет никому называть вещи по имени. Наоборот, он требует от всех и каждого применения условного "коммунистического" языка, который служит для того, чтобы замаскировывать правду. Традиции партии, как и ее основные документы, находятся в вопиющем противоречии с действительностью. Правящая олигар-

хия обязывает поэтому историков, экономистов, социологов, профессоров, учителей, агитаторов, судей истолковывать документы и действительность, прошлое и настоящее так, чтоб они оказывались хотя бы во внешнем согласии друг с другом. Принудительная ложь проникает всю официальную идеологию. Люди думают одно, а говорят и пишут другое. Так как расхождение между словом и делом непрерывно возрастает, то самые священные формулы приходится пересматривать чуть не каждый год. Если вы возьмете в руки разные издания одной и той же книги, скажем, Энциклопедии, то окажется, что об одних и тех же людях или явлениях в каждом новом издании даются совершенно различные отзывы, либо все более хвалебные, либо, наоборот, все более порочащие. Под кнутом бюрократии тысячи людей выполняют систематическую работу "научной" фальсификации. Любая попытка критики или возражения, малейшая нота диссонанса рассматривается как тягчайшее преступление.

Можно сказать без преувеличения, что бюрократия насковзь пропитала политическую атмосферу СССР духом инквизиции. Ложь, клевета и подлог являются, таким образом, не случайным средством борьбы против политических противников, а вытекают органически из фальшивого положения бюрократии в советском обществе. Пресса Коминтерна, которую вы знаете, представляет в этом отношении только тень советской прессы. Реальная действительность дает, однако, о себе знать на каждом шагу, компрометирует официальную ложь и наоборот, реабилитирует критику оппозиции. Отсюда необходимость прибегать ко все более и более острым средствам для доказательства непогрешимости бюрократии. Сперва оппозиционеров исключали из партии и снимали с ответственных постов, затем их стали ссылать, потом у них стали отнимать всякую работу. О них распространяли все более ядовитую клевету.

Но обличительные статьи всем приелись, им давно перестали верить. Понадобились сенсационные процессы. Обвинять оппозиционеров в том, что они критикуют самодержавие бюрократии, значило бы только помогать оппозиции. Не оста-

валось ничего другого, как приписывать им преступления, направленные не против привилегий новой аристократии, а против интересов народа. На каждом новом этапе эти обвинения принимали все более чудовищный характер. Таковы та общая политическая обстановка и та общественная психология, которые сделали возможной московскую судебную фантазмагорию. В процессе Зиновьева бюрократия добралась до высшей точки, нет, простите, она пала до низшей точки...

Если процесс, вообще говоря, подготавливался издавна, то многое заставляет думать, что он был инсценирован на несколько недель, а может быть, и месяцев раньше, чем намечали режиссеры. Впечатление, какое произвел налет этих господ (жест в сторону подсудимых), слишком противоречило видам Москвы. Печать всего мира говорила, и не без основания, о связи норвежских наци с гестапо. Впереди предстояло судебное разбирательство, на котором отношения между мною и фашистами должны были раскрыться во всей своей остроте. Надо было во что бы то ни стало перекрыть впечатление от столь неудачного предприятия. Сталин потребовал, видимо, от ГПУ ускорить московский процесс.

Как видно из официальных данных, важнейшие "признания" были выжаты из подсудимых в течение последней недели следствия, перед самым процессом, от 7 до 14 августа. При такой спешке трудно было заботиться о согласованности показаний с фактами и между собой. К тому же режиссеры слишком уверенно рассчитывали на то, что все прорехи обвинения будут с избытком покрыты показаниями самих обвиняемых. В самом деле, если все шестнадцать подсудимых признали в той или другой степени свое участие в убийстве Кирова или в подготовке других убийств, а некоторые прибавили к этому и свою связь с гестапо, то к чему прокурору обременять себя доказательствами или хотя бы устранением фактических противоречий, грубых анахронизмов и прочих нелепостей? Бесконтрольность усыпляет внимание, безответственность порождает беспечность. Прокурор Вышинский не только бессовестен, но и бездарен. Доказательства он заменяет бранью. Его обвинительный акт, как и его речь, представ-

ляют нагромождение противоречий. Я не могу здесь, разумеется, не только разобрать, но хотя бы только перечислить их. Мой старший сын, Лев Седов, которого московские Борджиа впутали в это дело, чтоб через его посредство добраться до меня (они считали, очевидно, что моему сыну труднее будет во многих случаях установить свое алиби, чем мне), выпустил недавно в Париже "Красную Книгу", посвященную московскому процессу. На протяжении 120-ти страниц вскрыта полная несостоятельность обвинения — с фактической, психологической и политической стороны. А между тем мой сын не мог использовать и десятой доли доказательств, имеющих в моем распоряжении (письма, документы, свидетельские показания, личные воспоминания). Перед лицом любого открытого суда московские обвинители были бы обнаружены как фальсификаторы, которые не останавливаются ни пред каким преступлением, когда дело идет о защите интересов новой касты привилегированных.

В Западной Европе нашлись юристы (назову англичанина Притта и француза Розенмарка), которые, основываясь на "полноте" признаний обвиняемых, выдали юстиции ГПУ свидетельство безупречности. Этим адвокатам Сталина придется еще пожалеть о своем торопливом усердии, ибо истина не только проложит себе дорогу через все препятствия, но и сокрушит по пути немало репутаций... Г.г.Притты обманывают общественное мнение, изображая дело так, будто шестнадцать лиц, заподозренных как участники преступного сообщества, признались в конце концов в совершенных ими преступлениях, и будто их признания, несмотря на отсутствие улик, дали в совокупности своей убедительную картину подготовки убийства Кирова и других покушений.

На самом деле отдельные обвиняемые и группы обвиняемых из числа шестнадцати вовсе не были связаны в прошлом между собою ни делом Кирова, ни каким-либо другим "делом". Из официальных документов известно, что по обвинению в убийстве Кирова были первоначально расстреляны 104 безымянных "белогвардейца" (среди них немало оппозиционеров), затем четырнадцать действительных или мни-

мых участников группы Николаева, фактического убийцы Кирова. Несмотря на "чистосердечные" признания четырнадцати никто из них не назвал ни одного из будущих обвиняемых по процессу шестнадцати.

Дело Зиновьева—Каменева представляет самостоятельное предприятие Сталина, построенное вне всякой связи с предшествующими "кировскими" процессами. "Признания" шестнадцати, полученные в несколько этапов, совершенно не дают картины чьей-либо террористической деятельности. Наоборот, под руководством обвинителя подсудимые тщательно обходят все конкретные обстоятельства времени и места... Мне предъявлен здесь официальный московский отчет о суде. Но ведь эта книжка — самая страшная улика против организаторов судебного подлога! Подсудимые на каждой странице истерически кричат о своих преступлениях, но не способны решительно ничего рассказать о них. Им нечего рассказать, господа судьи! Они не совершали никаких преступлений. Их покаяния должны лишь помочь правящей верхушке расправиться со всеми ее врагами, в том числе и со мною — "врагом № 1"...

Но какой же смысл подсудимым взваливать на себя несовершенные ими преступления и идти таким путем навстречу собственной гибели? — возражают адвокаты ГПУ. Возражение нечестное по самому своему существу! Разве подсудимые свободно, по собственной воле, сделали свои признания? Нет, их постепенно, в течение ряда лет держали под прессом, нажимали пресс все больше и больше и, в конце концов, не оставили несчастным, раздавленным людям никакой другой надежды на спасение, кроме полной и безусловной покорности, кроме окончательной прострации перед мучителями, кроме истерической готовности произносить все слова и проделывать все жесты, какие им диктует палач, выносливость нервной системы человека ограничена! Чтоб довести подсудимых до такого состояния, когда они только путем иступленной клеветы на самих себя могли надеяться вырваться из невыносимых тисков, ГПУ не нужно было даже прибегать к физическим пыткам или к специфическим медикаментам:



Лев Каменев, Григорий Зиновьев, Наталья седова

достаточно было тех нравственных ударов, терзаний и унижений, которым важнейшие подсудимые и члены их семей подвергались в течение десяти, а некоторые даже в течение тридцати лет.

Кошмарные по содержанию и по форме "признания" только в том случае находят свое объяснение, если не забывать ни на минуту, что эти самые подсудимые уже многократно каялись и делали чистосердечные признания в течение предшествующих лет: перед контрольными комиссиями партии, на публичных собраниях, в печати, снова перед контрольными комиссиями и, наконец, на скамье подсудимых. Во время предшествующих покаяний эти лица признавали каждый раз именно то, чего от них требовали.

Первоначально дело касалось программных вопросов. Оппозиция долго боролась за индустриализацию и коллективизацию. Оказавшись после долгого сопротивления вынужденной вступить на путь, указанный оппозицией, бюрократия обвинила оппозицию в том, будто та противилась индустриализации и коллективизации. В этой механике — суть сталинизма! От тех оппозиционеров, которые хотели вернуться в партию, требовали отныне категорического признания своей "ошибки", которая на самом деле была ошибкой бюрократии.

Самая возможность такого рода иезуитизма объясняется тем, что взгляды оппозиции оставались известны лишь десяткам и сотням тысяч людей, главным образом верхнему слою, но не народным массам, так как бюрократия железной рукой препятствовала распространению оппозиционной литературы. Между кающимися оппозиционерами и чиновниками контрольных комиссий, которые являются по существу органами ГПУ, шла за кулисами каждый раз долгая и мучительная торговля: какую "ошибку" и в какой форме признать. В конце концов, верх брали, конечно, иезуиты контрольных комиссий. На верхах партии все прекрасно знали, что покаянные документы не имеют ни малейшей нравственной ценности и что их единственное назначение — упрочивать в массах догмат непогрешимости вождей.

На новом этапе борьбы за свое самодержавие бюрократия требовала от того же лица, давно капитулировавшего, то есть отказавшегося от какой бы то ни было критики, новых более острых и унижительных признаний. При первом сопротивлении жертвы инквизитор отвечал: "Значит, все ваши предшествующие покаяния были неискренни. Значит, вы не хотите помочь партии в борьбе с ее врагами. Значит, вы снова становитесь по другую сторону баррикады!" Что оставалось делать капитулянтам, то есть оклеветавшим себя самих оппозиционерам? Упереться? Поздно! Они уже прочно сидели в сетях врага. На путь оппозиции им возврата не было. Оппозиция им не поверила бы. Да у них и не осталось больше политической воли. Придавленные к земле тяжестью предшествующих покаяний, под постоянным страхом новых ударов, не только против них самих, но и членов их семей, они на каждом новом этапе становились на колени перед каждый новым актом полицейского шантажа и падали таким образом все ниже и ниже.

На первом процессе Зиновьева—Каменева, в январе 1937 года, обвиняемые после острых нравственных истязаний согласились признать, что на них как на бывших оппозиционеров падает моральная ответственность за террористические действия. Это признание сейчас же послужило ГПУ исходной позицией для дальнейшего шантажа. Официальная печать и тогда уже — по сигналу Сталина — требовала смертных приговоров. ГПУ устраивало перед зданием суда демонстрации с воплями: "Смерть убийцам!" Так осужденные подготавливались для новых признаний.

Каменев упирался дольше Зиновьева. Для него устроен был 27 июля 1935 года новый суд при закрытых дверях, чтоб показать ему, что единственная надежда или хотя бы тень надежды на спасение останется для него лишь при условии полной готовности признать все, что нужно властям. Без связи с внешним миром, без внутренней уверенности, без защиты, без перспективы, без просвета, Каменев дал окончательно сломить себя. А тех обвиняемых, которые и при этих сверхчеловеческих пытках продолжали бороться за остатки

своего достоинства, ГПУ расстреливало одного за другим, без суда и без огласки. Вот какими способами Сталин "отбирал" и "воспитывал" подсудимых для последнего московского процесса. Такова реальность, господа судьи и присяжные! Все остальное мистификация и ложь...

Для чего же все это, спросите вы? Для удушения всякой оппозиции, всякой критики, для деморализации и оплевания всего и всех, кто противится бюрократии или хотя бы отказывается петь ей "осанну". Не в последнем счете эта дьявольская работа направляется против меня лично. Но здесь я должен снова отступить назад.

В 1928 году, после первых крупных арестов в партии бюрократия еще и думать не смела о физической расправе над вождями оппозиции. В то же время она не могла надеяться и на капитуляцию с моей стороны. Я продолжал из ссылки руководить борьбой. Правящая клика не нашла в конце концов другого решения, как выслать меня за границу. На заседании Политбюро (отчет об этом заседании был мне доставлен друзьями и тогда же опубликован) Сталин говорил: "За границей Троцкий окажется изолирован; он вынужден будет сотрудничать в буржуазной прессе, мы будем его компрометировать; социал-демократия вступится за него, — мы его развенчаем в глазах мирового пролетариата; Троцкий выступит с разоблачениями, — мы его изобразим предателем". Этот хитрый расчет оказался, однако, недалководиден. Сталин не учел силы и значения и д е й. Я выпустил за границей ряд книг, на которых воспитывается молодежь. Во всех странах создались сплоченные группы моих единомышленников. Возникли периодические издания на основе защищаемой мною программы. Недавно происходила международная конференция организаций, стоящих под знаменем Четвертого Интернационала. Под ударами врагов это движение непрерывно растет. Наоборот, внутри Коминтерна царят неуверенность и разброд.

Между тем без международного авторитета Сталин не мог бы удержать в своих руках командование над бюрократией и через нее — над народом. Рост Четвертого Интернационала

представляет для него грозную опасность, отголоски которой к тому же все больше проникают внутрь Советского Союза. Наконец, правящая клика смертельно боится еще не угаснувших традиций Октябрьской революции, которые неизбежно направляются против новой привилегированной касты. Все это достаточно объясняет, почему Сталин и его группа ни на минуту не прекращали борьбы против меня лично. От каждого, кто "каялся" за последние тринадцать лет, неизменно требовалось какое-либо заявление против Троцкого. Таких заявлений, индивидуальных и коллективных, можно насчитать многие десятки тысяч. Без осуждения Троцкого, без прямой клеветы на Троцкого бывший оппозиционер и думать не мог вернуться в партию или хотя бы получить кусок хлеба. Причем из года в год покаяния становились все унижительнее, а обличения Троцкого — все лживее и грубее. На этой работе воспитывались будущие подсудимые, как и сами следователи и судьи. Ведь и они доведены были до нынешней стадии деморализации лишь через ряд переходных ступеней.

Ответственным организатором этой деморализации — я снова жалею, что вынужден заявить это при закрытых дверях — является Сталин! Последний процесс не упал с неба, нет! Он резюмирует длинный ряд ложных покаяний, которые острием своим направлялись против меня. Когда Сталин понял ошибку высылки меня за границу, он попытался "исправить" ее свойственными ему методами. Судебный подлог, поразивший общественное мнение своей неожиданностью, был на самом деле неизбежным звеном длинной цепи. Он был заранее предвиден и публично предсказан.

В основу последнего процесса положено обвинение в организации террористических актов. Что касается меня, господа судьи и присяжные заседатели, то я не остановился бы перед проповедованием индивидуального террора и перед его применением, если б я мог поверить, что это метод способен продвинуть вперед дело освобождения человечества. Враги обвиняли и преследовали меня не раз за те мысли, которые я высказывал: последним в этом ряду является норвежское правительство. Но никто еще не обвинял меня в сокрытии моих мыслей.

Если я неизменно восстаю против индивидуального террора, притом не со вчерашнего дня, а с первых дней моей революционной деятельности, то потому, что считаю этот метод борьбы не только недействительным, но и пагубным для рабочего движения. В России действовали две всемирно известные террористические партии: Народная Воля и Социалисты-революционеры. Мы, русские марксисты, сложились как партия масс в непримиримой борьбе против индивидуального терроризма. Наш главный довод был тот, что этот метод гораздо более дезорганизует революционную партию, чем государственный аппарат. Недаром нынешняя бонапартистская бюрократия СССР жадно ищет актов террора и даже изобретает их, чтоб подкинуть их затем своим политическим противникам.

Убийство Кирова ни на минуту не пошатнуло самодержавия бюрократии; наоборот, дало ей желанную возможность истребить сотни неугодных ей людей, забросать грязью политических противников и внести смуту в сознание трудящихся. Результаты авантюры Николаева, — могло ли быть иначе? — целиком подтвердили старую марксистскую оценку терроризма, которой я оставался верен в течение четырех десятилетий и которую меньше всего собираюсь менять теперь...

Если террористические тенденции вспыхивают в отдельных группах советской молодежи, то не вследствие политической деятельности оппозиции, а в результате ее разгрома, удушения всякого протеста и всякой мысли в результате безнадежности и отчаяния. ГПУ жадно набрасывается на первый проблеск террористических настроений, культивирует их и немедленно создает подобие подпольной организации, в которой агенты-provokatory окружают несчастного террориста со всех сторон. Так было с Николаевым. Даже из официальных данных, если внимательно сопоставить их друг с другом, вытекает с несомненностью, что Ягода, Сталин и даже сам Киров были прекрасно осведомлены о затевавшемся в Ленинграде террористическом акте. Задача ГПУ состояла в том, чтоб припутать к делу вождей оппозиции, затем обнаружить заговор накануне покушения и пожать политические плоды. Был ли

сам Николаев агентом ГПУ? Вел ли он одновременно игру на два фронта? Этого я не знаю. Во всяком случае он выстрелил, не дожидаясь того, когда Сталин и Ягода успеют запутать в дело своих политических противников. На основании одних лишь официальных публикаций я еще в начале 1935 года, в особой брошюре ("Убийство Кирова и советская бюрократия") разоблачил провокационную работу ГПУ в деле убийства Кирова. Тогда же я писал, что провал этой попытки, оплаченной жизнью Кирова, не остановит Сталина, а наоборот, заставит его подготовить новую, более грандиозную амальгаму. Чтоб предвидеть это, поистине не было нужды в пророческом духе: достаточно было знать обстановку, факты и людей...

Из убийства Кирова ГПУ, как я сказал уже, смогло непосредственно извлечь только одно: признание всеми подсудимыми — под дулом револьвера — своей "моральной" ответственности за акт Николаева. Для большего не были подготовлены ни обвиняемые, ни общественное мнение, ни сами судьи. Но что отложено, то не потеряно. Сталин твердо решил превратить труп Кирова в неразменный капитал. ГПУ периодически извлекает этот труп для новых обвинений, новых признаний и новых расстрелов.

После дальнейшей полуторалетней психологической "подготовки", в течение которой все важнейшие подсудимые сидели в тюрьме, ГПУ предъявило им ультиматум: помочь правительству притянуть к террористическому обвинению Троцкого. Именно так, и только так ставился вопрос во время следствия, предшествовавшего процессу шестнадцати. "Вы нам не опасны более, — так примерно говорили агенты Сталина Зиновьеву, Каменеву и другим пленникам, — вы сами это знаете. Но Троцкий не сдался. Он ведет против нас борьбу в международном масштабе. Между тем надвигается война (бонапартисты всегда играют на струнах патриотизма). Мы должны справиться с Троцким во что бы то ни стало и как можно скорее. Надо скомпрометировать его. Надо связать его с террором, с гестапо..." — "Но ведь этому же никто не поверит!" — должны были возражать вечные подсудимые: мы

скомпрометируем лишь себя, но не скомпрометируем Троцкого". — Именно по этой линии шли торги между ГПУ и его пленниками. Некоторых непокорных кандидатов в подсудимые ГПУ расстреляло без суда, чтоб показать другим, что у них нет выбора. — "Поверят или не поверят, — так должны были возражать следователи, — это не ваше дело. Вы должны лишь доказать, что все ваши прошлые показания не были лицемерием, что вы действительно преданы партии (то есть правящей касте) и готовы для нее на любые жертвы".

Если следователи хотели быть откровенными (а стесняться в четырех стенах у них не было особенных оснований), они могли прибавить: "Поверят ли посвященные, не так уж и важно; зато немногие из них решатся протестовать. Опровержения фашистов нам будут только выгодны. Демократия? Она будет молчать. Французская или чешская демократия наберет воды в рот по патриотическим соображениям. Леон Блюм зависит от коммунистов, а эта братия сделает все, что мы прикажем. "Друзья СССР"? Эти тоже проглотят все, уже хотя бы для того, чтоб не признаться в своей слепоте. У мировой буржуазии, которая знает Троцкого, как глашатая перманентной революции, не может быть интереса поддерживать его против нас. Печать Четвертого Интернационала еще слаба. До масс дойдет таким образом то, что мы скажем, а не то, что скажет Троцкий". Таков был расчет Сталина, и в этом расчете далеко не все было ложным. В конце концов подсудимые снова капитулировали и приняли на себя порученные им трагические и постыдные роли.

Не все подсудимые согласились, однако, признать все, что от них требовали. Именно градация покаяний свидетельствует о той отчаянной борьбе, которая происходила за кулисами накануне процесса. Я оставляю здесь в стороне тех подозрительных молодых людей, которых я направлял будто бы из-за границы, но о которых на самом деле я ничего не слышал до процесса. Из старых революционеров ни один не признал связей с гестапо: довести их до такого отвратительного самоклеветанья ГПУ оказалось не в силах. Смирнов и Гольцман начисто отрицали, кроме того, свое участие в террористичес-

кой деятельности. Но все шестнадцать обвиняемых, все без исключения, признали, что Троцкий из-за границы тайно призывал к убийствам, давал террористические инструкции и даже посылал исполнителей. Мое "участие" в терроре является, таким образом, общим коэффициентом всех признаний. От этого минимума ГПУ не могло отступить. Только в обмен на этот минимум оно оставляло надежду на сохранение жизни. Так перед нами раскрывается подлинная цель всего подлога. Секретарь Второго Интернационала Фридрих Адлер, мой старый и непримиримый политический противник, пишет по поводу московского процесса: "Практическая цель этой акции представляет самую позорную главу всего процесса. Дело идет о попытке лишить Троцкого права убежища в Норвегии и воздвигнуть против него травлю, которая отняла бы у него возможность существования на всем земном шаре..."

Возьмем, господа судьи и присяжные, общий коэффициент признаний, как он представлен в показаниях подсудимого Гольцмана, основного свидетеля против меня и моего сына.

В ноябре 1932 года Гольцман, по его рассказу, прибыл на свидание со мной в Копенгаген. В вестибюле отеля Бристоль он встретился с моим сыном, который привел его ко мне. Во время продолжительной беседы я развил Гольцману террористическую программу. Это, пожалуй, единственное показание, где есть конкретная ссылка на обстоятельства времени и места. А так как Гольцман упорно отказывался в то же время признать свою связь с гестапо и свое участие в террористической деятельности, то его рассказ о свидании в Копенгагене должен представиться читателю, как наиболее достоверный и надежный элемент всех признаний на этом процессе. Что же оказывается на деле? Гольцман никогда не посещал меня, ни в Копенгагене, ни в ином месте. Мой сын не приезжал в Копенгаген во время моего пребывания там и вообще никогда не был в Дании. Наконец, отель Бристоль, где произошла будто бы встреча Гольцмана с сыном в 1932 году, был на самом деле разрушен еще в 1917! Благодаря исключительно счастливому стечению обстоятельств (визы, телеграм-

мы, свидетели и пр.) все материальные элементы рассказа Гольцмана, этого наиболее скупого на признания подсудимого, рассыпаются в прах. Между тем Гольцман не составляет исключения. Все остальные "признания" построены по тому же типу. Они разоблачены в "Красной Книге" моего сына. Новые разоблачения еще предстоят. Я мог бы, со своей стороны, уже давно представить печати, общественному мнению, беспристрастной следственной комиссии или независимому суду ряд фактов, документов, свидетельств, политических и психологических соображений, которые взрывают самый фундамент московской амальгамы. Но я связан по рукам и по ногам. Норвежское правительство превратило право убежища в ловушку. В момент, когда ГПУ обрушило на меня исключительное по подлости обвинение, правительство этой страны заперло меня на замок, изолировав от внешнего мира.

Здесь я должен рассказать один маленький эпизод, который может послужить неплохим ключом к моему нынешнему положению. Летом этого года, за несколько недель до того, как был возведен московский процесс, норвежский министр иностранных дел Кот был гостем в Москве и чествовался с подчеркнутой торжественностью.

Я заговорил на эту тему с нашим квартирохозяином, редактором Конрадом Кнутсенем, которого вы здесь уже допрашивали в качестве свидетеля. Вы знаете, что, несмотря на глубокую разницу политических взглядов, нас связывают с Кнутсенем дружественные личные отношения. Политики мы касались с ним только в порядке взаимной информации, решительно избегая принципиальных споров.

— Знаете ли вы, — спросил я его в полушутливой форме, — почему Кота так дружелюбно принимают в Москве?

— Почему?

— Дело идет о моей голове.

— Как так?

— Москва говорит или намекает Коту: мы будем фрахтовать ваши суда и покупать ваши сельди, но при одном условии, если вы нам продадите Троцкого...



Лев Седов

Кнутсен, горячий патриот своей партии, был явно задет моим тоном.

— Неужели же вы думаете, — ответил он мне с горечью, — что здесь будут торговать принципами?

— Дорогой Кнутсен, — возразил я ему, — я не говорю ведь, что норвежское правительство собирается продать меня; я утверждаю лишь, что Кремль хочет купить меня...

Передавая здесь эту короткую беседу, я не хочу этим сказать, что между Литвиновым и Котом велись откровенные переговоры в духе купли-продажи. Я должен даже признать, что в вопросе обо мне министр Кот держал себя во время избирательной кампании лучше, чем некоторые другие министры. Но для меня было совершенно ясно из ряда обстоятельств, что Кремль ведет в Норвегии обволакивающую дипломатическую и экономическую акцию широкого масштаба. Смысл этой подготовительной акции раскрылся для всех, когда разразился московский процесс. Не может быть, в частности, никакого сомнения в том, что кампания норвежской реакционной печати против меня питалась за кулисами из московских источников. Через посредников ГПУ снабжало реакционные газеты моими "неблагонадежными" статьями. Через своих агентов из норвежской секции Коминтерна оно пускало тревожные слухи и сплетни. Задача состояла в том, чтоб накануне выборов создать напряженную атмосферу в стране, запугать правительство и тем подготовить его к капитуляции перед ультиматумом Москвы.

Вдохновляемые советским посольством норвежские судовладельцы и другие заинтересованные капиталисты требовали от правительства немедленно урегулировать вопрос о Троцком, угрожая в противном случае ростом безработицы в стране.

Правительство со своей стороны ничего не хотело так, как сдать на милость Москвы. Ему нужен был лишь повод. Чтоб прикрыть свою капитуляцию правительство без малейшего права и основания обвинило меня в нарушении подписанных мною условий. На самом деле путем моего интернирования оно хотело улучшить торговый баланс Норвегии!

Особенно нелояльным надо признать поведение министра юстиции. Накануне интернирования он позвонил ко мне неожиданно по телефону. Наш двор был уже оккупирован полицейскими. Голос министра был слаще меда:

— Я получил ваше письмо, — говорил он, — и нахожу, что в нем есть много верного. Я вас прошу только об одном: не давайте вашего письма печати, не отвечайте вообще на сегодняшнее правительственное сообщение. У нас будет вечером совет министров, и, я надеюсь, мы пересмотрим решение...

— Разумеется, — ответил я, — я подожду окончательного решения.

На следующий день я был арестован, моих секретарей обыскали, причем первым делом у них отобрали пять копий письма, в котором я напоминал министру юстиции об его участии в политическом интервью со мною. Господин министр чрезвычайно опасался, что разоблачение этого факта может повредить его избирательным шансам. Таков этот страж юстиции!

Советское правительство, как вы знаете, не осмелилось поднимать вопрос о моей выдаче ни накануне процесса ни после него. Могло ли быть иначе? Требование выдачи пришлось бы обосновать перед норвежским судом, другими словами, выставлять себя самих на международный позор. Мне не оставалось ничего другого, как привлечь к суду норвежских "коммунистов" и фашистов, которые повторяли московскую клевету.

Еще в день интернирования министр юстиции сказал мне:

— Разумеется, вы будете иметь возможность защищаться от выдвинутых против вас обвинений.

Но дела министра юстиции резко расходятся с его словами. Своими исключительными законами против меня норвежское правительство заявило всем наемным клеветникам: "Вы можете отныне беспрепятственно и безнаказанно клеветать на Троцкого во всех пяти частях света: мы держим его связанным и не позволим ему защищаться!"

Г.г. судьи и присяжные заседатели! Вы вызвали меня сюда, в качестве свидетеля по делу о налете на мою квартиру. Правительство любезно доставило меня сюда под солидным полицейским конвоем.

Между тем по делу о похищении моих архивов в Париже то же правительство конфисковало мои показания, предназначенные для французского судебного следователя. Почему такая разница? Не потому ли, что в одном случае дело идет о норвежских фашистах, которых правительство считает своими врагами, а во втором случае — о гангстерах ГПУ, которых правительство причисляет ныне к числу своих друзей?..

Я обвиняю норвежское правительство в попрании элементарных основ права. Процесс шестнадцати открывает целую серию подобных процессов, где ставкой являются личная честь и судьба не только меня и членов моей семьи, но и сотен других людей. Как же можно запрещать мне, главному обвиняемому и одному из наиболее осведомленных свидетелей, изложить то, что я знаю? Ведь это значит злонамеренно мешать выяснению истины! Кто посредством угроз или насилия препятствует свидетелю рассказать правду, тот совершает тяжчайшее преступление, которое — я уверен в этом — сурово карается по норвежским законам... Весьма возможно, что в результате моих показаний в этом зале министр юстиции прибегнет к новым мерам репрессий против меня: ресурсы произвола неограничены. Но я обещал вам говорить правду, и притом всю правду. Я выполнил обещание!

П р е д с е д а т е л ь спрашивает, нет ли у сторон еще вопросов к свидетелю? Вопросов больше нет.

П р е д с е д а т е л ь (к свидетелю). Согласны ли вы подтвердить все, что вы показали, присягой?

— Я не могу принести религиозной присяги, так как не принадлежу ни к какой религии; но я хорошо понимаю значение всего того, что я показал перед вами и готов принести гражданскую присягу, то есть взять на себя юридическую ответственность за каждое сказанное здесь слово. Все встают. Свидетель с поднятой рукой повторяет слова присяги, после чего в сопровождении полицейских покидает зал суда и отбывает в Sundby, место интернирования.

ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Отъезд из Норвегии

28 декабря 1936 года. Настоящие строки пишутся на борту норвежского нефтеналивного судна "Руфь", направляющегося из Осло в один из мексиканских портов, пока еще неизвестно какой. Вчера мы прошли мимо Азорских островов. Первые дни море было тревожно, писать было трудно. Я с жадностью читал книги о Мексике. Наша планета так мала, а мы так плохо ее знаем! После того как выйдя из проливов, "Руфь" повернула на юго-запад, океан становился все спокойнее, и мне можно было заняться приведением в порядок заметок о пребывании в Норвегии и своих показаний перед судом.

Так прошли первые восемь дней, в напряженной работе и в гаданиях о таинственной Мексике. Впереди еще не менее двенадцати суток пути. Нас сопровождает норвежский офицер Ионас Ли, находившийся одно время в Саарской области, в распоряжении Лиги наций.

За столом мы сидим вчетвером: капитан, полицейский офицер и мы с женой. Других пассажиров нет. Море для этого времени года исключительно благоприятно.

Позади четыре месяца плена. Впереди — океан и неизвестность. На борту судна мы все еще остаемся, однако, под "защитой" норвежского флага, то есть на положении заключенных. Мы не имеем права пользоваться радиотелеграфом. Наши револьверы остаются у полицейского офицера, нашего соседа по табльдоту. Условия высадки в Мексике вырабатываются по радио помимо нас. Социалистическое правительство не любит шутить, когда дело идет о принципах... интернирования!

На происшедших незадолго до нашего отъезда выборах рабочая партия получила значительный прирост голосов. Конрад Кнудсен, против которого сплотились все буржуазные партии, как против моего "сообщника", и которого собственная партия почти не защищала от нападений, оказался выб-



Лев Троцкий и Наталия Седова. Мексика

ран внушительным большинством. В этом был косвенный вотум доверия мне... Получив поддержку населения, которое голосовало против реакционных атак на право убежища, правительство, как полагается, решило окончательно растоптать это право в угоду реакции. Механика парламентаризма сплошь построена на таких *qui pro quo* между избирателями!

Норвежцы справедливо гордятся Ибсеном как своим национальным поэтом. Тридцать пять лет тому назад Ибсен был моей литературной любовью. Ему я посвятил одну из первых своих статей. В демократической тюрьме, на родине поэта, я снова перечитывал его драмы. Многие кажутся ныне наивным и старомодным. Но многие ли довоенные поэты выдержали полностью испытание времени? Вся история до 1914 года представляется сегодня простоватой и провинциальной. В общем же Ибсен показался мне свежим и в своей северной свежести притягательным.

С особенным удовольствием перечитал я "Врага народа". Ненависть Ибсена к протестантскому ханжеству, захолустной тупости и черствому лицемерию стала мне понятнее и ближе после знакомства с первым социалистическим правительством на родине поэта.

— Ибсена можно разное толковать! — защищался министр юстиции, нанесший мне неожиданный визит в Sundby.

— Как ни толковать его, он будет против вас. Вспомните бюргермейстера Штокмана...

— Вы думаете, что это я?..

— В лучшем для вас случае, господин министр, у вашего правительства все пороки буржуазных правительств, но без их достоинств.

Несмотря на литературную окраску, наши беседы не отличались большой куртуазностью. Когда доктор Штокман, брат бургомистра, пришел к выводу, что благосостояние родного города основано на отравленных минеральных источниках, бургомистр прогнал его со службы, газеты закрылись для него, сограждане объявили его врагом народа. "Мы еще посмотрим, — восклицает доктор, — настолько ли сильны низость и трусость, чтоб зажать свободному честному человеку рот!.."

У меня были свои основания ссылаться против социалистических тюремщиков на эту цитату.

— Мы совершили глупость, дав вам визу, — сказал мне бесцеремонно министр юстиции в середине декабря.

— И эту глупость вы собираетесь исправить посредством преступления? — ответил я откровенностью на откровенность. — Вы действуете в отношении меня, как Носке и Шейдеманы действовали в отношении Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Вы прокладываете дорогу фашизму. Если рабочие Испании и Франции не спасут вас, вы и ваши коллеги будете через несколько лет эмигрантами, подобно вашим предшественникам, германским социал-демократам.

Все это было правильно. Но ключ от нашей тюрьмы остался в руках бюргермейстера Штокмана.

Насчет возможности найти убежище в какой-либо другой стране я не питал больших надежд. Демократические страны ограждают себя от опасности диктатур тем, что усваивают некоторые худшие стороны этих последних. Для революционеров так называемое "право" убежища давно уже превратилось из права в вопрос милости. К этому прибавилось еще: московский процесс и интернирование в Норвегии!

Нетрудно понять, какой благой вестью явилась для нас телеграмма из Нового Света, извещавшая о готовности правительства далекой Мексики предоставить нам гостеприимство. Наметился выход — из Норвегии и из тупика. Возвращаясь из суда, я сказал сопровождавшему меня полицейскому офицеру: "Передайте правительству, что мы с женой готовы покинуть Норвегию как можно скорее. Прежде, однако, чем обратиться за мексиканской визой, я хочу обеспечить условия безопасности переезда. Мне необходимо посоветоваться об этом с друзьями: депутатом Конрадом Кнудсенем, директором народного театра в Осло Гокон Мейером и немецким эмигрантом, Вальтером Хельдом. При их помощи я найду сопровождающих и обеспечу сохранность своих архивов".

Министр юстиции, который прибыл через день в Sundby

в сопровождении трех высших полицейских чиновников, был, видимо, потрясен радикализмом моих требований.

— Даже в царских тюрьмах, — сказал я ему, — давали выслаемым возможность повидаться с родными или друзьями для урегулирования личных дел.

— Да, да, — философски ответил социалистический министр, — но теперь другие времена...

От более точного определения различия времен он, однако, воздержался.

18 декабря министр явился снова, но только для того, чтобы заявить мне, что в свиданиях мне отказано, что мексиканская виза получена без моего участия (каким образом, остается неясным и сейчас) и что завтра мы с женой будем погружены на грузовое судно "Руфь", где нам отведена больничная каюта. Не скрою, при прощании я господину министру руки не подал...

На укладку вещей и бумаг у нас за вычетом тревожной ночи оставалось лишь несколько часов. Еще ни один из наших многочисленных переездов не проходил в атмосфере такой горячечной спешки, полной изолированности, неизвестности и глубоко подавленного возмущения. На ходу мы время от времени переглядывались с женою: что это значит? чем это вызвано? — и каждый из нас снова бежал с узлом или пачкой бумаг.

— Не ловушка ли со стороны правительства? — спрашивала жена.

— Не думаю, — отвечал я без полной уверенности. На веранде полисмены с трубками в зубах заколачивали ящики. Над фиордом клубились туманы.

Отъезд был обставлен величайшей тайной. Газетам дано было ложное сообщение о нашем близком будто бы переселении — в целях отвлечения внимания от предстоящей поездки. Правительство боялось и того, что я откажусь ехать, и того, что ГПУ успеет подложить на пароход адскую машину. Считать последнее опасение безосновательным мы с женой никак не могли. Наша безопасность совпадала в этом случае с безопасностью норвежского судна и его экипажа.

Встретили нас на "Руфи" с любопытством, но без малейшей враждебности. Прибыл старик-судовладелец. По его любезной инициативе нас поместили не в полутемную больничную каюту, с тремя койками, без стола, как распорядилось почему-то недремлющее правительство, а в удобную каюту самого судовладельца, рядом с помещением капитана. Так я получил возможность в дороге работать... Несмотря на все, мы увезли с собой теплые воспоминания о чудесной стране лесов и фиордов, о снегах под январским солнцем, лыжах и салазках, светловолосых и голубоглазых детях, слегка угрюмом и тяжеловесном, но серьезном и честном народе. Прощай, Норвегия!

Поучительный эпизод

30 декабря. Большая половина пути оставлена позади. Капитан полагает, что 8 января будем в Вэра-Крус, если океан не лишит нас своей благожелательности. 8-го или 10-го, не все ли равно? На судне спокойно. Нет московских телеграмм, и воздух кажется вдвойне чистым. Мы не спешим. Пора, однако, вернуться к процессу...

Поразительно, с какой настойчивостью Зиновьев, увлекая за собой Каменева, готовил в течение ряда лет свой собственный трагический финал. Без инициативы Зиновьева Сталин едва ли стал бы генеральным секретарем. Зиновьев хотел использовать эпизодическую дискуссию о профессиональных союзах зимою 1920-21 гг. для дальнейшей борьбы против меня. Сталин казался ему, и не без основания, наиболее подходящим человеком для закулисной работы. Именно в те дни, возражая против назначения Сталина генеральным секретарем, Ленин произнес свою знаменитую фразу: "Не советую, — этот повар будет готовить только острые блюда". Какие пророческие слова! Победила, однако, на съезде руководимая Зиновьевым петроградская делегация. Победа далась ей тем легче, что Ленин не принял боя. Своему предупреждению он сам не хотел придавать преувеличенного значения: пока оста-

валось у власти старое Политбюро, генеральный секретарь мог быть только подчиненной фигурой.

После заболевания Ленина тот же Зиновьев взял на себя инициативу открытой борьбы против меня. Он рассчитывал, что тяжеловесный Сталин останется его начальником штаба. Генеральный секретарь продвигался в те дни очень осторожно. Массы его не знали совершенно. Авторитетом он пользовался только у части партийного аппарата, но и там его не любили. В 1924 году Сталин сильно колебался. Зиновьев толкал его вперед. Для политического прикрытия своей закулисной работы Сталин нуждался в Зиновьеве и Каменеве: на этом основана была механика "тройки". Наибольшую горячность проявлял неизменно Зиновьев: он на буксире тянул за собой своего будущего палача.

В 1926 году, когда Зиновьев и Каменев после трех с лишним лет совместного со Сталиным заговора против меня, перешли в оппозицию к аппарату, они сделали мне ряд очень поучительных сообщений и предупреждений.

— Вы думаете, — говорил Каменев, — что Сталин размышляет сейчас над тем, как возразить вам по поводу вашей критики? Ошибаетесь. Он думает о том, как вас уничтожить... Сперва морально, а потом, если можно, и физически. Оклеветать, организовать провокацию, подкинуть военный заговор, подстроить террористический акт. Поверьте мне, это не гипотеза: в тройке приходилось быть откровенными друг с другом, хотя личные отношения и тогда уже не раз грозили взрывом. Сталин ведет борьбу совсем в другой плоскости, чем вы. Вы не знаете этого азиата...

Сам Каменев хорошо знал Сталина. Оба они начали в свои молодые годы, в начале столетия, революционную работу в кавказской организации, были вместе в ссылке, вместе вернулись в Петербург в марте 1917 года, вместе придали центральному органу партии оппортунистическое направление, которое держалось до приезда Ленина.

— Помните арест Султан-Галиева, бывшего председателя татарского совнаркома в 1923 году? — продолжал Каменев. — Это был первый арест видного члена партии, произведен-

ный по инициативе Сталина. Мы с Зиновьевым, к несчастью, дали свое согласие. С того времени Сталин как бы лизнул крови... Как только мы порвали с ним, мы составили нечто вроде завещания, где предупреждали, что, в случае нашей "нечаянной" гибели, виновником ее надлежит считать Сталина. Документ этот хранится в надежном месте. Советую вам сделать то же самое: от этого азиата можно ждать всего...

Зиновьев говорил мне в первые недели нашего недолговечного блока (1926-1927): "Вы думаете, что Сталин не взвешивал вопроса о вашем физическом устранении? Взвешивал, и не раз. Его останавливала одна и та же мысль: молодежь возложит ответственность на "тройку" или лично на него и может прибегнуть к террористическим актам. Сталин считал поэтому необходимым разгромить предварительно кадры оппозиционной молодежи. А там, мол, видно будет... Его ненависть к нам, особенно к Каменеву, вызывается тем, что мы слишком многое знаем о нем".

Перепрыгнем через промежуток в пять лет. 31 октября 1931 года центральный орган германской коммунистической партии "Роте Фане" опубликовал сообщение о том, что белый генерал Туркул подготавливает убийство Троцкого в Турции. Такие сведения могли исходить только от ГПУ. Так как в Турцию я выслан был Сталиным, то предупреждение "Роте Фане" весьма походило на попытку подготовить для Сталина моральное алиби на случай, если бы замысел Туркула закончился успехом.

4 января 1932 года я обратился в Политбюро, в Москву, с письмом на ту тему, что такими дешевыми мерами Сталину не удастся обелить себя: ГПУ способно одной рукой подтачивать белогвардейцев к покушению, через своих агентов-provокаторов, а другой рукой разоблачать их, на всякий случай, через органы Коминтерна.

"Сталин пришел к заключению, — писал я, — что высылка Троцкого за границу была ошибкой. Он надеялся, как это известно из его тогдашнего заявления в Политбюро, что без секретариата и без средств, Троцкий окажется бессильной жертвой бюрократической клеветы, организованной в миро-

вом масштабе. Бюрократ ошибся. Вопреки его ожиданиям, обнаружилось, что идеи имеют собственную силу, без аппарата и без средств... Сталин прекрасно понимает грозную опасность, которую представляют для него лично, для его дутого авторитета, для его бонапартистского могущества идейная непримиримость и упорный рост интернациональной левой оппозиции. Сталин думает: "Надо исправить ошибку". Разумеется, не идеологическими мерами: Сталин ведет борьбу в другой плоскости. Он хочет добраться не до идей противника, а до его черепа. Уже в 1924 году Сталин взвешивал доводы "за" и "против" в вопросе о моей физической ликвидации. "Я получил в свое время эти сведения через Зиновьева и Каменева, — писал я, — в период их перехода в оппозицию, притом в таких обстоятельствах и с такими подробностями, что не может быть места сомнению относительно правдивости этих сообщений... Если Сталин заставит Зиновьева и Каменева опровергнуть свои собственные прежние заявления, никто им не поверит".

Уже в то время система ложных признаний и опровержений на заказ цвела в Москве махровым цветом.

Через десять дней после того как я отправил свое письмо из Турции, делегация моих французских единомышленников, руководимая Навиллем и Франком, обратилась к тогдашнему советскому послу в Париже Довгалевскому с письменным заявлением: "Роте Фане" опубликовал сообщение по поводу подготовки покушения на Троцкого... Таким образом, само советское правительство формально подтверждает, что оно осведомлено об опасностях, угрожающих Троцкому".

А так как, согласно тому же официозному сообщению, план генерала Туркула "опирается на плохую организацию охраны со стороны турецких властей", то заявление Навилля—Франка заранее возлагало ответственность за последствия на советское правительство, требуя от него принятия немедленных практических мер.

Эти шаги всполошили Москву. 2 марта Центральный Комитет французской коммунистической партии разослал на-



Троцкий в Мексике

ибо более ответственным работникам на правах конфиденциального документа ответ Центрального Комитета большевистской партии СССР. Сталин не только не отрицал, что сообщение "Роте Фане" исходит от него, но ставил себе это предупреждение в особую заслугу и обвинял меня в... неблагодарности. Не говоря ничего по существу вопроса о безопасности, циркулярное письмо утверждало, что своими нападками на ЦК я подготавливаю свой "союз с социал-фашистами" (то есть социал-демократией). До обвинения в союзе с фашизмом Сталин тогда еще не додумался, а своего собственного союза с "социал-фашистами" против меня он еще не предвидел.

К ответу Сталина приложено было опровержение Каменева и Зиновьева от 13 февраля 1932 года, написанное, как неосмотрительно сказано в самом опровержении, по требованию Ярославского и Шкирятова, членов Центральной Контрольной Комиссии, и главных в то время агентов-инквизиторов по борьбе с оппозицией. В обычном для таких документов стиле Каменев и Зиновьев писали, что сообщение Троцкого есть "бесчестная ложь, с единственной целью скомпрометировать нашу партию... Само собой разумеется, что никогда не могло быть и речи об обсуждении подобного вопроса... и никогда мы ни о чем подобном не говорили Троцкому".

Опровержение заканчивалось еще более высокой нотой: "Заявление Троцкого насчет того, будто в партии большевиков нас могут заставить сделать ложные сообщения, представляет собою заведомый прием шантажиста".

Весь этот эпизод, отстоящий, на первый взгляд, далеко от процесса, представляет, однако, при более внимательном подходе исключительный интерес. Согласно обвинительному акту я уже в мае 1931 года и затем в 1932 году передал Смирнову через сына Льва Седова и через Юрия Гавена инструкцию: перейти к террористической борьбе и заключить с зиновьевцами блок на этой основе. Все мои "инструкции", как мы еще не раз увидим, немедленно выполнялись капитулянтами, то есть людьми, давно порвавшими со мною и ведущими против меня открытую борьбу.

Согласно официальному истолкованию, капитуляция Зиновьева, Каменева и других представляла собою простую военную хитрость — с целью пробраться в святилище бюрократии. Если принять на минуту эту версию, которая, как видно будет из дальнейшего, разбивается о сотни фактов, то мое письмо в Политбюро от 4 января 1932 года становится совершенно непостижимой загадкой. Если б я в 1931-32 годах действительно руководил организацией террористического "блока" с Зиновьевым и Каменевым, я не стал бы, разумеется, столь непоправимо компрометировать своих союзников в глазах бюрократии.

Грубое опровержение Зиновьева—Каменева, предназначенное для обмана непосвященных, не могло, конечно, ни на минуту обмануть Сталина: он-то уж, во всяком случае, знал, что его бывшие союзники рассказали мне голую правду! Одного этого факта было слишком достаточно, чтоб навсегда лишиться Зиновьева и Каменева малейшей возможности вернуть себе доверие правящей верхушки. Что же остается от "военной хитрости"? Я должен был бы быть просто неменяемым, чтоб подрывать таким образом шансы "террористического центра".

В свою очередь опровержение Каменева и Зиновьева и содержанием, и тоном своим свидетельствует о чем угодно, только не о сотрудничестве. К тому же этот документ не стоит особняком. Мы увидим еще, особенно на примере Радека, что главная функция капитулянтов состояла в том, чтобы из года в год и из месяца в месяц поносить и чернить меня перед советским и мировым общественным мнением. Как могли эти люди надеяться под руководством ими же скомпрометированного вождя прийти к победе, остается совершенно необъяснимым. Здесь "военная хитрость" уже явно превращается в свою противоположность. В сущности, опровержение Зиновьева—Каменева от 13 февраля 1932 года, разосланное всем секциям Коминтерна, представляет собою один из бесчисленных черновых набросков их будущих показаний в августе 1936 года: та же брань против меня как против противника большевизма и особенно — врага "товарища Стали-

на"; та же ссылка на мое стремление служить "контрреволюции"; наконец, то же заверение, что они, Зиновьев и Каменев, дают показания по доброй воле, без всякого принуждения. Да и может ли быть иначе: допускать самую возможность принуждения в "демократии" Сталина могут только "шантажисты". Самые эксцессы стиля безошибочно указывают источник вдохновения. Поистине драгоценный документ! Он не только вырывает почву из-под вымысла о троцкистско-зиновьевском центре 1932 года, но и позволяет попутно заглянуть в ту лабораторию, где подготавливались будущие процессы со сделанными на заказ покаяниями.

Окончание в № 87

НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА "ВРЕМЯ И МЫ"

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА
КРЕМЛЬ - ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Одновременно с американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 г. "Время и мы" выпускает книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Кремль -- от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко на шумевшая книга "Андропов" (переведена на многие языки) .

В новой книге, основанной на достоверных источниках, представлена картина острой и драматической борьбы за власть в Кремле после смерти Брежнева.

СОДЕРЖАНИЕ

Пределы понимания: что мир знает о Кремле и что Кремль — о мире

О том как страна управлялась со смертного одра

Дуэль у гроба Андропова, или о том, что произошло в Кремле за четыре дня между его смертью и его похоронами

Интермеццо с Константином Черненко

Тайное правительство империи КГБ

Гамлетовы сомнения Кремля: как быть с Польшей

Происхождение кремлевских мафий, или почему в Кремле нет евреев, женщин, москвичей и военных?

Король умер — да здравствует король)

Знакомьтесь: Михаил Горбачев

Политический дебют в Московском университете

Возвращение в Ставропольские пенаты

Баловень Политбюро

Тень Сталина над Кремлем

Кремль, империя и народ, или парадокс народовластия

Р. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

СУДЬБЫ ПИСАТЕЛЕЙ

ЗАДУШЕННЫЕ

Духовно задушенными цензурой были все без исключения советские писатели, физически погибшими была лишь часть их: первые — "род", вторые — "вид", говоря языком естествознания. Эта часть исчисляется многими десятками людей; но уже не десятками, а сотнями надо числить писателей, изнывавших под игом цензуры — и либо замолкавших волеяневолей на долгие годы, либо приспособлявшихся к "веяниям времени". — С волками жить — по волчьей выть, — говорил мне один из видных советских романистов; за чайным столом он высказывал одни мнения; печатно — диаметрально противоположные.

Русская литература издавна знала писателей этих трех типов. Погиб на виселице Рылеев, задушен был Чаадаев (высочайше объявлен сумасшедшим и тем самым отрезан от литературы), приспособился в конце концов Полевой, — если

брать примеры людей одного поколения. Но не всегда можно определить — по крайней мере нам, современникам, — к какой из этих трех групп относится тот или другой писатель. Вот и пример: на фоне убогой советской философии, на фоне жалких споров "диалектиков" с "механистами" (читая их, вспоминал свои гимназические годы) — в течение малого десятилетия выделялся интересный и острый мыслитель, неогегельянец А.Ф.Лосев. Ему удавалось печатать свои объемистые труды лишь потому, что он догадался делать это в глухой провинции, вроде Тулы, где цензура была совсем провинциально-наивной. Таким путем Лосеву удалось напечатать с десяток томов на темы философии культуры, пока предрешающие власти не спохватились и не прекратили такое безобразие: провинциальные пути были Лосеву отрезаны, о столичных и говорить нечего. Так был задушен единственный из представителей подлинной философии, ухитрившийся в течение ряда лет подавать свой голос; но вот вопрос — только ли печатно задушен, или потом физически погиб? По крайней мере, 1938 год застал Лосева в одной из московских тюрем; дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Чтобы закончить речь о представителях подлинной философии — упомяну еще о двух "религиозных философах": профессоре С.Аскольдове (Алексееве) и А.А.Мейере. Первого сперва задушили невозможностью и преподавать и печататься, а потом погубили и ссылкой: до последних военных дней середины 1941 года он жил в Новгороде (еще очень милостивое место ссылки), — А.А.Мейер испытал, кроме литературного задушения, нечто горшее: десятилетие ссылки, начиная с изолятора Соловецкого монастыря. Скончался все же в Петербурге — в 1939 году, в больнице.

Но обращусь к "чистой литературе" — беллетристике и поэзии, и к писателям, избежавшим личной гибели, но задушенным невозможностью печататься. Эта невозможность проявлялась в большей или меньшей степени: некоторым удавалось до поры до времени пробиваться сквозь цензурные теснины, а некоторых останавливали у самого входа в эти круги Дантова ада. Примером этого может служить судьба Е.И.За-

мятина, о которой не буду рассказывать подробно, полагая, что "европейскому" русскому читателю судьба эта достаточно известна: последние годы своей жизни Е.И.Замятин провел в Европе, благополучно выехав из советского парадиза. Но все же напомним: когда роман Замятина "Мы" не был пропущен советской цензурой, а вскоре появился в Европе и Америке в переводах, — против Замятина началась травля, предпринятая "Литературной газетой", к которой благородно присоединился и Союз писателей (прямой задачей которого было бы наоборот — защищать своего сочлена). Замятин ответил выходом из Союза писателей, после чего все его литературные приятели, друзья и знакомые прекратили знакомство с таким опасным человеком. Цензура же сделала свои выводы: пьеса "Блоха" (по рассказу Лескова), шедшая с большим успехом и в Петербурге и в Москве, была снята с репертуара; пьеса "Атилла", уже дошедшая до генеральной репетиции на сцене Большого драматического театра в Петербурге — была запрещена к представлению. Рассказы и повести не допускались к печати — по мотивам иной раз более чем анекдотическим. Помню рассказ Замятина о том, как цензура запретила ему одну из его повестей за первую же вступительную фразу: "На углу Блинной улицы и улицы Розы Люксембург"... Цензор счел такое сопоставление названий улиц издевательством и потребовал исключения фразы; а так как она была по духу не одинока в ткани повести, то последняя и не увидела света.

Не буду увеличивать числа примеров; подробно обо всем этом могла бы рассказать Л.Н.Замятина, разделившая и "советскую" и "европейскую" судьбы своего мужа. Скажу только, что благодаря содействию Максима Горького Замятину с женой удалось в 1930 году уехать "на год" в Европу; характерное письмо Е.И.Замятина к Сталину с просьбой об этом отпуске — ходило по рукам в писательских кругах Петербурга.

Узнав о судьбе Замятина, о том, что его выпускают за границу, — другой затравленный цензурой писатель, М.Булгаков, обратился с такой же просьбой к лицам "на заставах команду имеющим" (по выражению Салтыкова-Щедрина). Полагаю, что и "европейскому" русскому читателю известен этот молодой и талантливый писатель (по профессии — врач, Замятин был судостроитель), известен его роман "Белая

гвардия", его пьеса "Дни Турбиных", его ядовитые рассказы "Роковые яйца" и "Дьяволиада". Спихватившись слишком поздно, цензура решила впредь не пропускать ни единой печатной строки этого "неуместного сатирика" (так выразился о Булгакове некий тип, на цензурной заставе команду имеющий). С тех пор рассказы и повести его — запрещались (читал я в рукописи очень остроумную его повесть "Собачье сердце"), пьесы либо не допускались на сцену, либо снимались с репертуара ("Багряный остров", "Мольер" и др.). Вообще — литературно задушили. Не выдержав такой тяжелой судьбы и имея в виду пример Замятина, выпущенного "на год" за границу, М.Булгаков обратился с такой же просьбой к вершителю судеб человеческих, мудрому Сталину. Этот положил резолюцию: за границу не пускать, цензурных шлюзов не открывать, а предложить московскому Художественному театру принять М.Булгакова в качестве литературного консультанта. Так и свершилось: вместо того, чтобы писать свое, М.Булгаков вынужден был заняться для театра обработкой "Мертвых душ" (последняя постановка Станиславского), литературно-театральной консультацией и прочими, подобными же делами, — до самой своей смерти в 1939 году. Еще один из задушенных литературно, но избежавших физической гибели в сетях ГПУ. И на том спасибо.

Мне уже приходилось рассказывать о трагической литературной судьбе Федора Сологуба, вынужденного умолкнуть и продолжавшего писать "не в журналы, а в свой письменный стол" (по его выражению). Но у Федора Сологуба хоть "прошлое" было, — собрание сочинений в двадцати томах (в издательстве "Сириус"); но каково было молодым, начинающим писателям, желавшим творить, но не желавшим приспособляться. Характерным примером является "пролетарский поэт" В.Казин, автор тоненькой книжки стихов "Рабочий май"; эта тоненькая книжка была поистине "томов многих тяжелей", — чувствовалось из нескольких десятков стихотворений, что перед нами подлинный лирический, милостью Божией, поэт. Но этот подлинный поэт был в то же время, к сожалению, и членом коммунистической партии, весьма стро-

го контролирующей направление мыслей своих адептов. Писать на заказанные темы Казин не мог, не умел или не хотел, — и предпочел замолчать. В течение двух десятилетий он написал (или, по крайней мере, напечатал), кроме многообещающего "Рабочего мая", только поэму "Любовь и лисья шуба", — не считая немногих отдельных стихотворений в журналах. А между тем он был, несомненно, глубже и тоньше дарованием многословного П.Васильева, тоже вынужденного замолчать, но по другой, не менее уважительной причине — он был посажен в Суздальский изолятор.

Надо сказать, что добровольно замолчавших — тоже немало, но называть их имена не всегда удобно, до поры до времени.

Но вот имя, которое можно назвать: Анна Ахматова. В течение двадцати лет она — печатно — молчала; поэзия ее была "неактуальна"... Правда, в конце 20—начале 30-х годов "Издательство писателей в Ленинграде" получило цензурное разрешение издать в двух томах собрание стихов Анны Ахматовой — под редакцией, с комментариями и со вступительной статьей Демьяна Бедного... От этой чести Анна Ахматова категорически отказалась, предпочитая оставаться неизданной.

Кстати сказать, в середине тридцатых годов сам всеобщий до того времени Демьян Бедный оказался — ко всеобщей радости даже коммунистов — тоже "задушенным", и несколько лет нигде не мог печататься. Причиной этого была не цензура, а особое приказание оскорбленного Сталина, в руки которого, при помощи ГПУ, попали дневники секретаря Демьяна Бедного, некоего М.Презента. История эта весьма шумела ("кому горе, кому смех!") в России, вероятно, дошла и до русских в Европе, а потому я и не рассказываю здесь подробно о литературно задушенном Демьяне Бедном; впрочем, он получил прощение и воскрес к началу войны 1941 года.

Возвращаясь к Анне Ахматовой: вдруг случилось невероятное, было свыше разрешено издать том избранных ее стихотворений, который и вышел в 1940 году под заглавием "Шестикнижие" и, надо думать, дошел и до "русских в Европе", почему я о нем и не распространяюсь. Не знаю, известно

ли зато окончание всей этой эпопеи? Прошло всего полгода после выхода в свет этой книги, как появление ее было признано ошибкой, книга была негласно изъята из продажи и из библиотек... Анне Ахматовой более идет быть задуманной цензурой, чем преуспевающей. К слову сказать, за эти долгие годы молчания ей удалось сделать ценный вклад в пушкиноведение, указав на истоки "Золотого петушка" в произведениях Вашингтона Ирвинга (статья об этом Анны Ахматовой была напечатана, если не ошибаюсь, в журнале "Звезда"),

В заключение — позволю и себя включить в этот краткий список литературно задуманных писателей. Когда в 1923 году вышла в издательстве "Колос" моя книга "Вершины" — цензура предложила издательству впредь не предъявлять для цензурования книг этого автора, ибо они вообще, независимо от их содержания, пропускаться не будут. Поэтому, не могли выйти в свет, а потом и погибли мои книги — "Россия и Европа" и "Оправдание человека"; пришлось укрыться за псевдонимом. А под своей статьей "Взгляд и нечто" я поставил в сборнике "Современная литература" подпись: "Ипполит Удушьев". Действительно — удушили.

Заканчивая этот список литературно задуманных, повторяю: он намеренно краток, ибо о многих, оставшихся по ту сторону рубежа, говорить по разным причинам еще неудобно.

ПРИСПОСОБИВШИЕСЯ

О погибших в советских тюрьмах и ссылках писателей рассказывать хоть и горько, но легко: им уж ничем не повредишь. О писателях, задуманных советской цензурой, говорить гораздо труднее: говори с оглядкой, чтобы не повредить людям, доселе живущим в советском раю. И уже совсем трудно говорить о легионе приспособившихся: во-первых, их так много, что не знаешь, о ком и сказать, а во-вторых, — никак нельзя передать частные разговоры с ними, в которых эти бедняги, иной раз с почтенными литературными именами, гово-

рят искренне (но — наедине!) о своем подлинном отношении к власти предрержащей. Оправдывают они себя лишь бескрылыми поговорками: против рожна не попрешь, плетью обуха не перешибешь, с волками жить — по волчьему выть; официально говорят они одно, в частной беседе (но наедине!) — диаметрально противоположное.

Помню ужин в 1940 году в дружеском кругу пяти-шести виднейших советских писателей, среди которых были три "орденоносца", с европейскими именами. Вино развязало языки — и даже не наедине, а в тесной компании, люди стали откровенными, — и чего только не наговорили они о себе, о властях предрержащих, о горькой необходимости либо приспособляться, либо молчать. В тюремном быту я привык к откровенности, — людям там все равно нечего терять, и они выражаются иной раз весьма круто и солоно о лицах, на коммунистических заставах команду имеющих; но орденоносцы-писатели за этим товарищеским ужином побили все рекорды в выражении своей ненависти к советскому строю. А через несколько дней я читал в "Литературной газете" восторженный панегирик мудрому правительству за постоянные заботы о писателях, — и автором панегирика был как раз тот из орденоносцев, который за товарищеским ужином красочнее других клеймил мудрое правительство.

Таких примеров — десятки и сотни, но примеры все "безымянные": нельзя же огласить имя этого орденоносца, и поныне пребывающего под властной рукой мудрого правительства. Но есть имена, которые можно огласить без всякой опасности для "оглашенных" — и во главе этих имен стоит, конечно, имя "пролетарского графа" Алексея Толстого. Талантливый писатель (Федор Сологуб грубо, но метко говорил про него, что он "брюхом талантлив"), весьма беспомощный в области "идеологии" и вполне равнодушный ко всякого рода моральным принципам — он проделал классический путь приспособленчества: от эмиграции к "сменовеховству", от "сменовеховства" (после возвращения в Россию) — к писанию халтурных пьес, вроде "Заговора императрицы", от этой театральной халтуры — к халтуре публицистической, детски бес-

помощной, на столбцах "Известий". Зарабатывая ежегодно больше сотни тысяч (переиздания сочинений! пьесы! кинофильмы!), он сам откровенно признавал, что делать это он может лишь благодаря беззастенчивой халтуре: рядом с "Петром Великим" или "Хождением по мукам" — приходится писать для прославления начальства такие ужасные романы, как "Хлеб" или "Черное золото". Ничего не подделаешь — приходится приспосабливаться, чтобы заслужить и благоволение начальства, и сотни тысяч, и титул "пролетарского графа"... Это приспособление "графа" к "пролетариату" происходило на глазах у всех нас в Царском селе со второй половины двадцатых годов, — и можно было бы рассказать не один красочный анекдот об эпизодах характерного процесса этого приспособленчества.

Другой пример, значительно менее яркий — история приспособленчества гремевшего некогда (очень давно! — в 1906-1910 гг.) Сергея Городецкого, ныне совершенно — и по заслугам — забытого. Он, вероятно, очень хотел бы повторить путь пролетарского графа, но — переборщил: вступил членом в коммунистическую партию (чего у Алексея Толстого хватило ума не сделать), стал сотрудничать в безграмотном журнале "Безбожник" и печатать в нем во всех смыслах "безбожные" вирши. Не процвел, но приспособился вполне. Последним литературным подвигом его было перелицовывание текста оперы "Жизнь за царя" в текст оперы "Иван Сусанин". Эта юмористическая история очень шумела в последние годы в Петербурге и в Москве, — и не прославила имени Сергея Городецкого, когда-то так славно начавшего свой литературный путь (сборники стихов "Ярь" и "Перун"), для того, чтобы так бесславно закончить его к началу 40-х годов.

Лет десять тому назад очень насмешил "читающую публику" яркий эпизод приспособленчества: в апреле 1932 года писатель Алексей Чапыгин и поэтесса Елизавета Полонская огласили в газетах заявление о своем вступлении в "РАПП" как раз за неделю до того, как эта организация была уничтожена декретом правительства. Некий остроумец (фамилию знаю, но не могу огласить) сложил такую эпитафию по случаю смерти этого недоброй памяти литературного застенка:

Под камнем сим лежит РАПП Божий...

Чего ж ты пятишься, прохожий?

Алексей Чапыгин и Елизавета Полонская не вовремя решили приспособиться, — что не мешало Алексею Чапыгину быть автором хороших романов ("Разин Степан", "Гулящие люди" и др.), а Елизавете Полонской — посредственной поэтессой, счет которых ведется дюжинами. Советскую власть Чапыгин ненавидел (в беседах — наедине!), и тем не менее шел же он покорно записываться в стадо приспособившихся!

Да что там Чапыгин, что там отдельные имена, когда перед глазами у всех прошел такой массовый пример приспособленчества, как пресловутый съезд советских писателей в Москве, летом 1934 года. Десятки, сотни именитейших и безымянных писателей, начиная с Максима Горького, выступали с кафедры этого съезда — и все эти десятки и сотни без исключения, явили собой такой махровый цвет приспособленчества, а то и лакейства перед властью, что невольно приходило на память крылатое слово Герцена о бюрократической лестнице в эпоху Николая Первого. Бюрократия эта, говорил Герцен, представляла собой лестницу восходящих господ, если смотреть снизу, и лестницу нисходящих лакеев, если смотреть сверху. Такой писательской лестницей нисходящих лакеев явил себя и съезд советских писателей (ССП — эти же буквы означают и Союз советских писателей; по грубому выражению того же Максима Горького, они расшифровываются как "сукины сыны приспособляются"... Максим Горький был не лучше других, но с высоты лестницы весьма презрительно смотрел на "нисходящих лакеев").

В советские времена молчание стало признаком не только благоденствия, сколько неблагомыслия: молчит, значит что-то про себя таит... И промолчавши на съезде писателей видные два-три (не более!) представители подлинной литературы, своим молчанием только подтвердили старое латинское изречение: когда молчат — вопиют...

Погибших в советской действительности писателей были десятки и десятки, задушенных цензурой — сотни, приспособившихся — тысячи: где уж тут говорить о них поименно! А

следовало бы: например, о вершине приспособленчества — Максиме Горьком, и его действительно горькой предсмертной участи (за два-три года до смерти), надо было бы рассказать подробно вещи, неизвестные "зарубежной России". Или о погибающем ныне в концлагере талантливым поэте Заболотском — надо бы рассказать совершенно невероятную историю, связанную с тоже талантливым поэтом Тихомировым, приспособившимся и орденоносным. Да и мало ли еще о ком следовало бы порассказать, пока не стерлись в грохоте мировой войны все эти имена и деяния!

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

"Три горькие доли имела судьба" — этот стих Некрасова применим не только к русской крепостной женщине, но и к русскому советскому писателю. Погибнуть физически (растрел, тюрьма, концлагерь), быть задушенным цензурой, или — третье — приспособиться и начать плясать от марксистской печки и по коммунистической дудке — это ли не горькая доля? И все эти три доли легли на плечи одного из крупнейших поэтов XX века, "последнего поэта деревни" — Николая Клюева.

Судьба его вообще была необычна. Уроженец глухих олонецких лесов (около города Вытегры), сын старого николаевского солдата и духовно одаренной крестьянки (ее жизни он посвятил потом целую поэму), воспитанный в глубинах старообрядческой культуры — Клюев с юных лет обнаружил глубокое дарование и "песенный дар". Молва о нем разнеслась по округе — и в возрасте пятнадцати лет он стал "Давидом хлыстовского корабля", то есть присяжным слагателем духовных песен для одной из общин ("корабля") секты хлыстов. Здесь, в глубине лесов, в хлыстовском "корабле", он пробыл три года и сложил за это время ряд духовных песен, которые впоследствии составили второй сборник его стихов — "Братские песни". Снискав полное доверие хлыстов, Клюев был послан ими в Баку, где был хозяином своеобраз-

ной "конспиративной квартиры", служившей явочным местом для посетителей из секты "бегунов", державших постоянную "эстафетную связь" между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами жаркой Индии... Все это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем). Место этим рассказам — в подробной его биографии; здесь же достаточно сказать, что он пробыл в Баку несколько лет, много работая над собой, много читал, пока не почувствовал, что окреп достаточно и может уже попробовать свои силы. Он уехал в Москву, явился со своими стихами к Валерию Брюсову, при содействии которого и был издан в 1908 году первый сборник стихов Николая Клюева — "Сосен перезвон", сразу показавший, что у нас появился новый "поэт Божьей милостью". Через год-другой был напечатан второй сборник — "Братские песни", за ним последовал третий — "Лесные были", а вскоре после начала войны 1914 года и четвертый сборник — "Мирские думы". Уже эти четыре томика позволили Клюеву занять видное и своеобразное место среди таких корифеев русской поэзии того времени, как Блок, Белый, Брюсов, Сологуб, Бальмонт, Вяч.Иванов и немногие другие. Правда, своеобразная поэзия Клюева не сразу получила общее признание — и сам он так рассказывает об этом в одном из прекрасных, но малоизвестных стихотворений:

**Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын великих озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной беломорский простор.**

**На закате пляшут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.**

**Потянуло душу, как гуся,
В золотой, полуденный край:
Там Микола и светлый Иисусе
Приготовят пшеничный рай.**

**Прихожу. — Вижу: избы — горы,
На водах стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про сосновый звон и скиты.**

**Мне ученые люди сказали:
"К чему такие слова!
"Укоротьте поддевку до тали
"И обузьте у ней рукава!"**

**Я заплакал "Братскими песнями",
Порешили: "В рифме не смел!"
Зажурчал я ручьями полесными
И "Лесные были" пропел.**

**В поученье дали мне Игоря
Северянина пудренный том...
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом...**

**Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар —
И "Мирские думы" болезные
Я принес отчизне, как дар;**

**Рассказал, как еловые куколи
Осеняли солдатскую мать.
И газетные дятлы загулкали:
"Не поэт он, а буквенный тать!"**

**"Русь Христа променяла на Платовых,
"Рай крестьянский — мужический бред..."**

Мало помалу, однако, Николай Клюев добился общего признания; больше того, — он стал оказывать влияние и на другие сильные индивидуальности. В подробной биографии Блока еще будет рассказано, какое сильное влияние оказал на него Клюев (около 1910 г.).

Подверглись этому влиянию и Сергей Есенин, и Петр Орешин, и Алексей Гарин — все "последние поэты деревни", все по-разному испытавшие впоследствии горькую долю советских поэтов.

Не только февральскую, но и октябрьскую революцию 1917 года Николай Клюев вместе с Сергеем Есениным, Алек-

сандром Блоком и немногими другими — встретил восторженно: политическая революция должна была углубиться до социальной. Но разное бывает углубление, иной раз оно выливается в упрощение и уплотнение; в области духовной и культурной жизни это и совершили большевики в первые же годы своего господства. "Последний поэт деревни", Николай Клюев, был объявлен "кулацким поэтом" — и сразу же оказался в числе задушенных советских писателей. Редко и с трудом удавалось ему прорывать цензурные рогатки и выпустить два-три маленьких сборника стихотворений; совсем чудом удалось получить разрешение на издание двух томиков собрания стихотворений ("Песнослов"). Вскоре пришлось совсем отказаться от печатания и перейти к писанию "для себя" и для немногих друзей и знакомых. К сожалению, нельзя было уберечься от шпионства и провокации, нельзя было ручаться за "знакомых знакомых", перед которыми приходилось читать новые свои произведения. "Приходилось" — потому что это вскоре стало единственным источником жизни Николая Клюева. "Раскулаченный" в своей вышгородской деревне, он поселился в Петербурге, читал свои произведения у друзей и знакомых, которые делали среди присутствующих сборы и вручали этот гонорар за чтение задушенному цензурой поэту. Кто слышал эти чтения, тот никогда их не забудет.

Со второй половины 20-х годов Клюев на этих собраниях чаще всего читал свою поэму "Погорельщина"; она настолько замечательна, что требует особого рассказа. Скажу только, что слухи о ней распространились очень широко — и послужили причиной гибели поэта. Впрочем, арестован он был только в 1933 году, когда уже переехал на жительство в Москву.

Эти годы — конец 20-х и начало 30-х — были годами расцвета творчества Николая Клюева. Кроме десятков стихотворений он в эти годы писал обширную поэму (раза в три больше "Погорельщины") — "Песнь о Великой Матери". Поэма исключительной силы и глубокого содержания: но, к сожалению, она, кажется, навсегда погибла для литературы.

Арестованный по обвинению в "кулацком уклоне" и в контрреволюции, в чтении и распространении контрреволюционной поэмы "Погорельщина", Клюев, отсидев несколько месяцев в московских тюрьмах, был приговорен к ссылке в Нарымский край. Там он жил в самых ужасных условиях (знаю об этом по его письмам), но продолжал заканчивать поэму "Песнь о Великой Матери" и писал такие стихотворения, выше которых никогда еще не поднимался. В середине 1934 года он обратился с мольбой о помощи к Максиму Горькому, который был тогда на вершине силы и славы (возглавлял съезд советских писателей): Горький "протянул руку помощи" — и Клюева перевели в Томск, но вскоре снова арестовали и в Томске. Так, сперва задушенный цензурой, погибал в сибирской ссылке один из самых больших наших поэтов XX века.

Задушенный, погибший... Но я сказал, что он испытал и третью горькую долю, — судьбу приспособившегося. Увы! из песни слова не выкинешь. Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой, потом снова попавший в Нарым, Клюев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся. В 1935 г. он написал большую поэму "Кремль", посвященную прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: "Прости, иль умереть вели!" Не знаю, дошла ли поэма "Кремль" до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

К слову сказать: поэзия не терпит неискренности и насилия. Вымученный "Кремль", если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Клюева; а он мог и не сохраниться, как и все поэтическое наследие Клюева этих последних годов его жизни.

Судьба этого наследия была трагическая. Лучшую и крупнейшую свою вещь, поэму "Песнь о Великой Матери" в трех частях Клюев дописывал в ссылке. Вторую часть он прислал на хранение своему другу Николаю Архипову, который был тогда хранителем музея Большого Петергофского дворца; не зная, как сохранить драгоценную рукопись, Архипов поло-

жил ее на одну из высоких кафельных печей в одной из зал дворца. Вскоре после этого он был арестован, а Петергофский дворец был разрушен войной 1941 года.

В моем личном архиве хранилась объемистая папка — свыше ста писем и пятидесяти стихотворений Клюева эпохи 1933—1937 годов, в том числе и список первой части "Песни о Великой Матери". Папка эта вместе со всем моим архивом погибла в Царском селе зимой 1941—1942 года.

Но, разумеется, у самого Клюева должны были сохраниться подлинники всех этих произведений. И тут судьба оказалась немилостивой к нему и к его поэтическому наследию. Отбыв срок ссылки, он получил разрешение выехать в Москву, где должны были определить его дальнейшую участь; в августе 1937 года он выехал из Томска — как он сам писал — "с чемоданом рукописей". По дороге, в вагоне, он скончался от сердечного припадка и похоронен на одной из станций Сибирской магистрали; на какой? — друзья его не могли дождаться до все того же 1941 года. Чемодан с рукописями пропал бесследно, как бесследно погибли, надо думать, и вторая и третья части "Песни о Великой Матери", и все замечательные предсмертные стихотворения Николая Клюева. Правда, у одного его близкого друга хранились списки их в Ленинграде, но кто может теперь сказать — сохранились ли они в настоящее время у него и сохранился ли он сам?

К счастью, сохранился — и, вероятно, не в одном экземпляре — список поэмы "Погорельщина", той самой поэмы, которая сыграла такую трагическую роль в писательской судьбе Николая Клюева. Случайно сохранился этот список и у меня: перечитывая поэму, вспоминаю ее в изумительном чтении самого поэта, сперва задушенного, потом погубленного, неудачно пытавшегося приспособиться, и все-таки окончательно загубленного тюрьмой и ссылкой со всеми их жуткими условиями.

Если "Песнь о Великой Матери" не сохранилась, — "Погорельщина" останется вершиной творчества Николая Клюева, памятью о его трагической писательской судьбе.

ЛАКЕЙСТВО

О том, что Алексей Толстой — талантливый беллетрист, — спорить не приходится. О том, что в многочисленных произведениях его три четверти халтуры, — сам он откровенно говорил в частных разговорах. О том, что он стоит на верхней ступени лакейства, — достаточно известно по его публицистическим выступлениям, которые не делают чести ни его уму, ни его таланту. Но здесь я хочу рассказать не об его слабости, а о сильной стороне, о настоящем художественном его произведении "Петр Первый", и о том, как даже здесь, в области творчества, махровым цветом может распуститься лакейство.

Два слова о самом романе "Петр Первый" — об одном связанном с ним характерном эпизоде, который мне достоверно известен. Когда профессор и академик С.Ф.Платонов сидел в ленинградском ДПЗ (Доме предварительного заключения) на Шпалерной улице, "дело" его вел следователь Лазарь Коган, предложивший однажды своему подследственному взять в камеру первый том "Петра Первого" (С.Ф.Платонов его еще не читал) и написать о нем "в свободные минуты" отзыв "с исторической точки зрения". Недели через две С.Ф.Платонов передал своему следователю объемистую рукопись в 80 страниц — о "Петре Первом" Алексея Толстого с исторической точки зрения. В первом томе этого романа Платонов нашел до тысячи мелких и крупных ошибок против исторической истины. Конечно, роман — не историческое исследование, но все же факт характерен. Знаю о нем со слов того же самого Лазаря Когана, когда через несколько лет его "подследственным" был уже не Платонов (к тому времени скончавшийся в ссылке в Самаре), а я. Интересно, что стало с этой рукописью С.Ф.Платонова, являвшейся собственностью Лазаря Когана, когда последнего расстреляли в ежовские времена, в 1937 году...

Но все это — только между прочим; перехожу к самому роману Алексея Толстого, или, вернее, к его авторской переработке в пьесу которая шла и в ленинградских, и в московских театрах. Впрочем, речь должна идти не о переработ-

ке, а о переработках, так как таковых было целых три — и в них автор последовательно опускался все ниже и ниже по ступенькам лакейства, тем самым восходя все выше и выше в иерархии господ. Остановлюсь только на последней сцене пьесы,

В первой редакции переработки сцена эта представляла собою смерть Петра. Царь — в агонии; за окном — буря на Неве; тонет любимый фрегат Петра "Ингерманландия". Для Петра это символ: с его смертью погибнет и все "дело петрово". В горьком и безнадежном монологе Петр говорит о том, что нет впереди просвета, что гибнет не "Ингерманландия", а вся Россия. Умирает не герой, а слабый, отчаявшийся человек.

В этой первой редакции пьеса была поставлена МХАТом II, — и на генеральной репетиции (о которой расскажу ниже) выяснилось, что Петр здесь изображен "недостаточно героически", — однако пьеса была разрешена к постановке и шла в этой редакции целый год на сцене московского МХАТа II, а автор тем временем занялся переработкой этой пьесы во второй редакции, приняв к сведению сделанные свыше указания. Во второй редакции — Петр выведен "героичнее"; сцены смерти вообще нет, — а пьеса кончается казнью Монса и монологом Петра перед Екатериной на тему о том, что сильные люди — всегда одиноки (взято напрокат из ибсеновского "Доктора Штокмана"). Но этот финал не удовлетворил ни начальство, ни тем самым автора. Пришлось заняться третьей редакцией, в которой пьеса шла потом на ленинградской сцене. В этой редакции финальная сцена — заседание Сената и речь Петра к сенаторам на тему о том, что "дело петрово" — не пропадет: "Знайτε, товарищи (!), что хоть и не скоро, а придет человек, который будет по своему, по новому, но продолжать дело Петра"... До имени Сталина дело не дошло, но ведь и без того всякому имевшему уши, чтобы слышать, было понятно, на кого намекает — не Петр, а лакействующий автор.

Так лакействуют на верхних ступенях лестницы "восходящих господ". Еще характернее это же явление на нижних ступенях лестницы "нисходящих лакеев". Рассказ о генераль-

ной репетиции первой редакции пьесы "Петр Первый" в МХАТе II послужит этому красочным примером.

Почти до конца 20-х годов директором этого театра и одновременно главной его артистической силой был М.А.Чехов, гениальнейший из русских актеров двух последних десятилетий. После его эмиграции за границу, во главе МХАТа II встал неплохой актер и режиссер Берсенев, но он уже не мог удержать театр на прежней "чеховской" высоте. Попыткой поднять театр явилась постановка "Петра Первого" (в первой редакции), пропущенного цензурой Главреперткома с трудом, ибо опасались, что пьеса эта может быть воспринята как "пропаганда монархизма". Поэтому актеру, игравшему Петра, предложено было режиссером "не нажимать на педаль героизма". И несмотря на это, театр трепетал: удастся ли провести пьесу, разрешение на которую Главрепертком дал под условием, что окончательное решение (разрешение или запрещение) будет вынесено лишь после просмотра пьесы начальством на генеральной репетиции, которая должна была состояться за день до спектакля.

На дневной генеральной репетиции театр был переполнен всеми властями, на коммунистических заставах командующими: от членов Политбюро — во главе с самим Сталиным — в ложах, до многочисленных представителей "красной профессуры" в партере и до бесчисленных представителей ГПУ во всех щелях театра. Партер и весь театр смотрели не столько на сцену, сколько на правительственную ложу и на самого Сталина, — чтобы уловить, какое впечатление производит пьеса на "хозяина земли русской", и соответственно с этим надо ли ее хвалить или стереть с лица земли. Пьеса подходила уже к концу — и все не удавалось определить настроение "хозяина": сидел спокойно и не аплодировал. Но часа за четверть до конца, когда Петр уже агонизировал, а "Ингерманландия" тонула — произошла сенсация: Сталин встал и, не дождавшись конца пьесы, вышел из ложи. Встревоженный директор и режиссер Берсенев побежал проводить высокого гостя в автомобиль, чтобы узнать о судьбе спектакля. Он имел счастье довольно долго беседовать в фойе с вершителем судеб пьесы

и России и, когда вернулся в зрительный зал, — занавес уже упал при гробовом молчании публики, решившей, что судьба "Петра Первого" уже предрешена...

Маленькое отступление: позвольте напомнить подобный же случай "в анналах русского театра". В собрании сочинений Козьмы Пруткова, при рассказе о постановке на Александрийской сцене в 1851 году водевиля "Фантазия", сообщается, что когда присутствовавший на спектакле Николай Первый, не дождавшись конца водевиля, "с признаками неудовольствия изволил выйти из ложи" — публика начала свистеть, шикать, выражать негодование... Во все времена и при всех режимах лакеи остаются лакеями.

Занавес упал, но публика оставалась на местах, ибо по окончании пьесы тут же, на сцене, должна была состояться "дискуссия", решающая судьбу спектакля. Через немного минут занавес снова поднялся: на сцене стоял стол для президиума и кафедра для ораторов; записалось уже до сорока человек — все больше из состава "красной профессуры". Заранее можно было предсказать содержание речей, — в иных случаях легко быть пророком в своем отечестве. Один за другим выступали "красные профессора", литературоведы-марксисты, театральные критики-коммунисты — и, стараясь перещеголять друг друга в резкости выражений, обрушивались на пьесу, требуя немедленного ее запрещения. Требовали привлечения к ответственности деятелей Главреперткома, пропустивших к постановке явно контрреволюционную пьесу; обрушивались на театр и режиссера, изобразивших Петра "героически", явно в целях пропаганды монархизма; взывали к "мудрости Сталина", который, конечно же, разглядел всю контрреволюционность спектакля и несомненно запретит распространение его в массах; нападали и на автора, требуя не только запрещения пьесы, но и конфискации самого романа "Петр Первый", — первого его тома, — и запрещения цензурой предстоящего второго тома... В таком же духе высказались в течение часа один за другим десять ораторов, причем каждый последующий старался "увеличить давление" и оставить за флагом всех предыдущих в выражениях своих верно-подданнических чувств и своего безмерного негодования.

На кафедре появился одиннадцатый оратор, — толстый "красный профессор" с таким же толстым желтым портфелем под мышкой. Он прислонил портфель к подножью кафедры, поднялся на нее — и едва начал речь словами: "Товарищи! В полном согласии с предыдущими ораторами, я не нахожу достаточно сильных слов негодования, чтобы заклеить эту отвратительную контрреволюционную пьесу, в которой так героически подан Петр, явно в целях пропаганды монархизма..." — как его перебил директор и режиссер Берсенев, попросивший у председателя слова "с внеочередным заявлением". Получив его, Берсенев, не поднимаясь на кафедру, где оставался одиннадцатый оратор, а стоя за спиной президиума, сказал приблизительно следующее:

"Товарищи! Французская народная мудрость говорит, что из столкновения мнений рождается истина, — и сегодняшний наш обмен мнениями о спектакле "Петр Первый" несомненно послужит лишним доказательством справедливости этой поговорки. Я рад, что десять-одиннадцать первых ораторов высказались столь единогласно в своем отрицательном и резком суждении о пьесе, — рад потому, что уверен, что многие из последующих ораторов выскажутся об этой пьесе в смысле совершенно противоположном. По крайней мере, мне уже известно одно из таких суждений. Час тому назад товарищ Сталин в беседе со мной высказал такое свое суждение о спектакле: "Прекрасная пьеса. Жаль только, что Петр выведен недостаточно героически". Я совершенно уверен, что если не все, то, по крайней мере, некоторые из последующих ораторов присоединятся к этому мнению товарища Сталина и, таким образом, из столкновения мнений родится истина. А теперь прошу меня извинить за то, что я прервал столь поучительный обмен мнениями своим внеочередным заявлением"...

Впечатление от этой краткой речи, которой нельзя отказать в ехидстве, было потрясающим. Сначала наступило гробовое продолжительное молчание, затем — вихрь землетрясения, буря оваций и крики: "Да здравствует товарищ Сталин!" Волной этого землетрясения был начисто смыт с кафедры толстый "красный профессор" — исчез неведомо куда, забыв

даже свой толстый желтый портфель у подножия кафедры. (Берсенев потом рассказывал, что портфель этот три дня лежал в конторе Театра, пока за ним не явились от имени толстого "красного профессора".) Его сменил на кафедре новый, двенадцатый оратор, очередной "красный профессор", который начал свою речь примерно так: "Товарищи! Слова бессильны передать то чувство глубочайшего возмущения, с которым я прослушал речи всех предыдущих ораторов. Как! Отрицательно относиться к замечательной прослушанной и виденной нами сегодня пьесе, о которой товарищ Сталин так верно и мудро сказал: "Прекрасная пьеса". Как! Считать героической фигуру Петра, про которую товарищ Сталин так мудро и верно заметил, что он выведен недостаточно героически, — в чем, действительно, единственная ошибка и автора, и театра..."

И так далее.

Стоит ли досказывать? Ну, конечно же, и само собой понятно, что все последующие ораторы "всецело присоединились" к мудрому суждению товарища Сталина, что они клеймили негодованием контрреволюционные выступления десяти первых ораторов, что пьеса была единогласно разрешена к постановке и что автор немедленно же принялся за вторую редакцию пьесы, чтобы Петр был в ней выведен "более героически",...

Ну разве не пророчески прав был Герцен? Какая замечательная лестница восходящих господ, — если смотреть снизу, и лестница нисходящих лакеев, — если смотреть сверху!

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В разгаре пресловутой ежовщины, в 1938 году, в Ленинграде была арестована группа писателей по обвинению в организации "троцкистской ячейки" с террористическими целями.

Арестованные, как водится, под давлением неоспоримых физических аргументов признались во всем — и были разосланы по изоляторам, концлагерям и ссылкам, смотря по тя-

жести обвинения и по размаху следовательского усердия. Среди осужденных был и "подававший надежды", а отчасти и выполнивший их, молодой поэт Заболотский, попавший не то в изолятор, не то в концлагерь (не знаю), "на десять лет без права переписки".

Вскоре после этого разразилась эпидемия — награждения писателей орденами. Много курьезов можно было бы рассказать об этом позорном эпизоде в истории русской литературы; достаточно было просмотреть список награжденных, чтобы убедиться, что ордена эти давались не по литературному весу награждаемых, а по соображениям политическим, ничего общего с литературой не имеющим. Бездарные или полуталантливые виршеплеты и беллетристы получали высший из орденов — орден Ленина; многие талантливые представители старой литературы были оттеснены на задворки, в задние ряды, и получили только жетончик "Знак почета". Несомненно крупнейший из современных поэтов, уже немолодой Борис Пастернак — вообще не удостоился на этот раз никакого ордена. Кое-кто получил сравнительно "по заслугам", — если вообще может существовать литературная табель о рангах и если вообще вся эта орденосная вакханалия не была бы позором для литературы.

Среди получивших — сравнительно по заслугам — высокие ордена были между другими поэт Тихонов и беллетрист Федин. Не помню сейчас, какие ордена они получили — орден Ленина или Красного Знамени, но не в этом дело; существенно для дальнейшего лишь то, что оба эти писателя были почтены высокою государственною наградою. Кто бы мог предположить, что между осужденными за троцкизм и терроризм писателями и писателями-орденосцами существует тесная и неразрывная связь?

Пришел 1939 год. Ежов сошел со сцены (не то в могилу, не то в сумасшедший дом), появились новые птицы со старыми песнями: предполагалось, однако, что Берия, заместивший Ежова, склонен подвергнуть пересмотру осудительные приговоры двухлетней эпохи ежовщины. Но ведь приговоров этих были миллионы! На пересмотр всех этих дел потребовались бы годы и годы! Можно бы ограничиться лишь одними "во-

пиющими случаями", но ведь все дела одинаково вопяли! Вот хотя бы случай с поэтом Заболотским, — случай совершенно фантастический и тем не менее достовернейший.

К концу 1939 года или началу 1940 года стало ходить по рукам в писательских кругах Петербурга и Москвы письмо Заболотского, пребывающего в концлагере или в изоляторе, к поэту Николаю Тихонову, пребывающему в орденосцах. Каким-то путем удалось Заболотскому (быть может, через одного из выходящих, отбывших срок в изоляторе или концлагере) переслать письмо Николаю Тихонову; письмо это в копии было и в моих руках. Содержание его было приблизительно следующее.

В наше место заключения, — писал поэт из тюрьмы поэту на свободе, — не доходят сведения из внешнего мира в виде писем или газет; но благодаря неожиданной случайности попал к нам обрывок того номера "Известий", в котором дан перечень писателей, удостоенных высоких государственных наград. Среди ряда знакомых имен я с несказанным удивлением встретил ваше имя, товарищ Тихонов, а также имя товарища Фебина. Искренне рад за вас обоих, что вы живы, здоровы и не только находитесь на свободе, но даже удостоены награждения высокими орденами; несказанное же удивление мое связано именно с этим обстоятельством, с одной стороны, и с моей личной судьбой — с другой. Полтора года тому назад я и ряд писателей (перечислен ряд имен) были арестованы по обвинению в принадлежности к террористическому троцкистскому кружку; на допросах, под давлением убедительнейших аргументов, мы вынуждены были признать, что действительно состояли членами такого кружка, и были завербованы в него возглавляющими кружок писателями — Николаем Тихоновым в Ленинграде и Константином Фебиным в Москве. Теперь вам понятна и моя радость за вас — вы живы и на свободе, и мое глубочайшее изумление: каким образом вы, главы террористической организации, завербовавшие в число ее членов и меня, получили высокую государственную награду, в то время как я, рядовой член этой организации, получил за это же не орден, а десять лет строгой изо-

ляции? Очевидно, что тут что-то неладно, концы не сходятся с концами, и вам, находящемуся на свободе и награжденному государственным отличием, надлежит постараться распутать этот фантастический клубок и либо самому признать свою вину и проситься в изолятор, либо сделать все возможное, чтобы вызволить из него нас, совершенно невинно в нем сидящих...

О дальнейшем я знаю только по рассказам третьих лиц, так как после этого ни с Тихоновым, ни с Федем не встречался. Рассказывали, что перепуганные на смерть орденосцы, Тихонов и Федин, составили коллективное письмо на имя Берия, приложили к нему письмо Заболотского и просили о перерасследовании дела "группы ленинградских и московских писателей-террористов", ибо из выяснившихся обстоятельств видно, что следователь вел это дело приемами, заслуживающими некоторого сомнения, если не сказать осуждения... Было якобы получено обещание о пересмотре дела, — но до середины 1941 года никаких перемен в этой области не последовало: орденосцы продолжали оставаться орденосцами (хотя якобы возглавляли собою террористическую организацию писателей-троцкистов), а тюремные и лагерные сидельцы продолжали пребывать таковыми (хотя были только мелкими сошками, якобы завербованными в преступную организацию будущими орденосцами).

Я нисколько не сомневаюсь, что если бы фантастика мировой войны не свела на нет всю мелкую фантастику советского быта, если бы теперь были мирные времена и мой рассказ дошел бы до властителей литературных русских судеб, то могло бы последовать литературное "опровержение ТАСС": из глубины тюрьмы поэт Заболотский написал бы, что он никогда не сидел в тюрьме, а орденосцы Тихонов и Федин сообщили бы, что никогда не получали никакого письма от Заболотского, и что все рассказанное выше — сплошная фантастика. Я тоже склонен считать всю эту историю фантастической, но не потому, что ее не было, а потому, что много фантастического совершалось в застенках НКВД.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА
Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":
 "Time and We" 475 Fifth ave, room 511 -A
 New York, New York, 10017
 Цена книги 10 долларов.
 В книге 254 стр.



ПУТЬ МАСТЕРА

Если мне будет позволено, то начну я с конца — с серии графических работ Сергея Блюмина "Духовой оркестр", сделанной им в прошлом году. Почему оркестр? Откуда эта тяга художника к музыке, которой не избежал он даже в названиях своих работ? Да потому, наверное, что по "происхождению" Сергей Блюмин совсем и не живописец, а музыкант.

Юность его связана с Московской, а затем и Ленинградской консерваторией. Закончил он ее с отличием и был приглашен играть в Камерный оркестр — давал и сольные концерты старинной барочной музыки для трубы, так что имя его, возможно, и по сей день знакомо ленинградским меломанам.

Самое интересное, что и живописцем он стал опять же в юности. Первую картину написал еще в общежитии Московской консерватории: за отсутствием пригодных материалов написал ее гуталином, зубной пастой и томатным соком. Картина благоухала и вызывала нарекания администрации общежития.

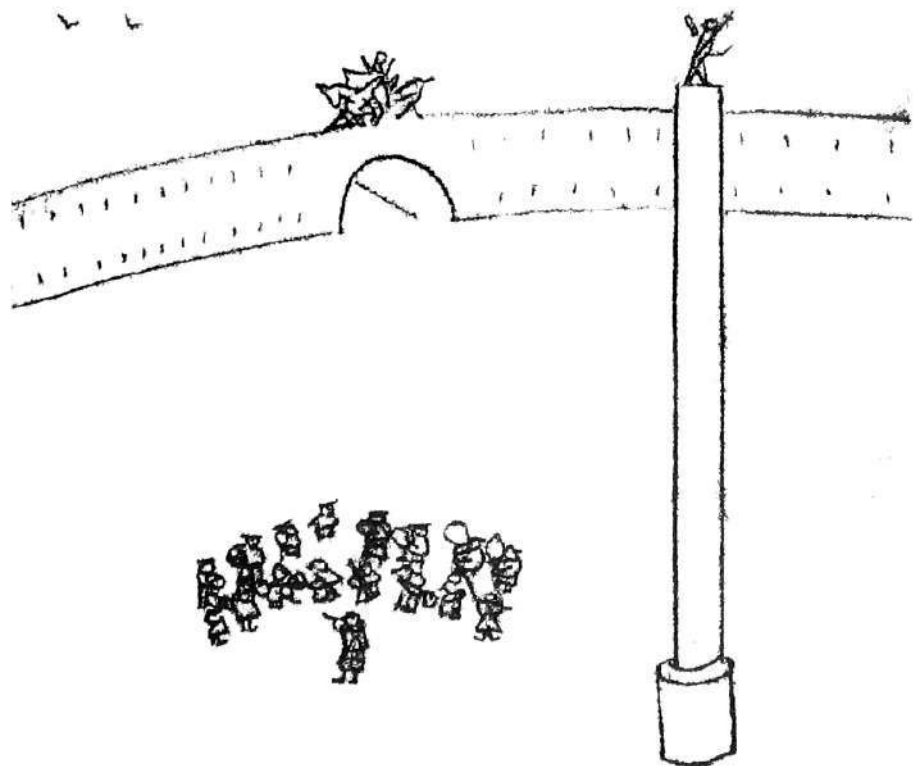
Так и в жили в нем и музыкант и художник, но живопись все более захватывала его. И в 1972 году Сергей Блюмин впервые выставляет свои работы в Ленинградском Союзе художников. Затем — одна за другой выставки в Москве, Ленинграде, Литве, его работы появля-

ются в собраниях Русского музея, наконец, персональная выставка в павильоне Росси в Летнем саду. Можно бы сказать, что был это в каком-то смысле триумфальный путь, если бы не обрушившиеся обвинения в формализме, столь знакомые каждому талантливому мастеру в России. Тогда-то и пришла мысль уехать.

Это был 1978-й год. И в том же году его работы появляются в одной из самых престижных галерей Вены — "Ам Габен". Затем его выставляют в Германии, Великобритании, Франции, Японии, во многих галереях Нью-Йорка, Филадельфии, Иллинойса...

Оглядывая сегодня путь художника, я спрашиваю себя: "Что, собственно, отличает его манеру?" Или скажем так: "Что ставит его в ряд настоящих мастеров?" Техника? — Да, великолепная техника. И еще многогранность: он пишет маслом, увлекается графикой, создает металлическую пластику. Но, если говорить о чем-то его личном, только ему присущем, — то надо отметить особое чувство юмора, которым окрашены столь многие его работы последних лет. И не будем удивляться, что дирижеру его оркестра помогает дирижировать Медный всадник. Не будем удивляться его героям — немного грустным, немного смешным, заставляющим нас размышлять над разными причудами жизни. И, если вы меня спросите, что самое дорогое и ценное в работах художника, то я, наверное, отвечу так: его особый, блюминский взгляд на мир, умение его видеть таким, каким не видит никто другой.

Александр ЩЕДРИНСКИЙ



На Дворцовой площади



Дирижер духового оркестра



В Летнем саду



На Петропавловке



Вальс



Пруд Летнего сада



Слушательница



Белая ночь

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ (1899-1981) — крупнейший русский писатель.

ЛЕВ НАВРОЗОВ — как и многие другие в современной России, Лев Неврозов жил подпольно примерно с 14-ти лет, то есть с 1942 года. Он был подпольным писателем. Для того чтобы существовать и не быть сосланным в качестве тунеядца, он "внештатно переводил" на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Фазиля Искандера, Андрея Битова. После первой и последней попытки напечатать свою книгу "Стаканчики граненые" в московском издательстве в короткий просвет "Пражской весны" 1968 года Неврозов стал писать по-английски, и, приехав в США в 1972 г., он издал свою первую из семи книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией". Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Лев Неврозов — постоянный автор многих американских журналов, в том числе журнала "Комментари".

ДМИТРИЙ ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1950 г. В 1973 г. окончил МГУ и работал экскурсоводом Московского экскурсионного бюро. В 1979 г. эмигрировал в США. В том же году был принят в Мичиганский университет. После его окончания поступил в аспирантуру Чикагского университета на исторический факультет.

ИВАН ЖДАНОВ — рукопись получена по каналам самиздата, печатается без разрешения автора.

ТЕОДОР ГЛАНЦ — рукопись получено по каналам самиздата, печатается без разрешения автора.

БОРИС МОЙШЕЗОН — родился в 1937 г. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию в области алгебраической геометрии. В 1972 г. выехал в Израиль. С 1972 г. по 1977 г. был профессором математики Тель-Авивского университета, а с 1977 г. по настоящее время — профессор математики Колумбийского университета. Автор ряда крупных открытий в алгебраической геометрии, в частности, создал теорию пространств, получивших название пространств Мойшезона.

ВЕРА ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ — родилась и выросла во Франции. В Америке с 1949 года. Окончила Бруклинский колледж и Колумбийский университет. Защитила докторскую диссертацию по славистике. В настоящее время — профессор славистики и советологии Сити-колледже (Нью-йоркский городской университет). Автор четырех книг по русской и советской литературе. Вице-президент Всемирной ассоциации по культурным связям, куда входят 67 стран.

НОРМАН ПОДГОРЕЦ — один из выдающихся писателей и интеллектуалов современной Америки. Родился в 1930 г. в Нью-Йорке, в Бруклине. Окончил Колумбийский и Кембриджский университеты. С 1960 года и по настоящее время — бессменный редактор журнала "Комментари". Все эти годы публикуется в ведущих изданиях Соединенных Штатов и Англии, Норману Подгорецу принадлежит целый ряд книг, получивших большой резонанс в американском обществе. Среди них: "Удачи и провалы: американская литература в пятидесятые и последующие годы", "Путь к успеху", "Против течения. Политические мемуары", "Сегодняшняя опасность", "Почему мы были во Вьетнаме".

МИЛЬТОН ФРИДМАН — лауреат Нобелевской премии по экономике (1976). Почетный профессор экономики Чикагского университета и старший научный сотрудник Гуверовского института. Ведущий представитель Чикагской экономической школы, автор таких книг, как "Капитализм и свобода", "Теория ценообразования", "Доллары и дефицит", "Свобода выбирать", "Тирания статус кво" и многих других. Член американской Национальной и ряда иностранных академий. С 1966 по 1984 г. — экономический обозреватель еженедельнике "Ньюсуик", евтор и ведущий многосерийной телевизионной передачи "Свобода выбирать", демонстрировавшейся во многих странах.

ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ — родился в Москве в 1956 г. В 1978 г. эмигрировал в США. Изучал историю в Брандайском университете на кафедре сравнительной истории. В настоящее время аспирант докторской программы Ратгресского университета. Автор более ста публикаций. Среди опубликованных им работ "Солженицын и социалисты" (США, 1983); "Большевики и левые эсеры, октябрь 1917 — июль 1918" (ИМКА-Пресс, 1985), е также вышедшие под его редакцией книги "СССР — Германия. 1939-1941. Документы и материалы по истории советско-германских отношений", в двух томах (США, 1983) и другие.

Digest for the 86th Issue of "VREMYAI MY" (Time and We)

ANDREI PLATONOV, "Immortality"

A little known story by a renowned Russian writer. This story tells of the gruelling life of a simple Soviet man during the years of Stalin's Five-Year plans.

ANDREI PLATONOV, "Legend"

A philosophical story.

LEV NAVROZOV, "A Hundred Hundredth" and "Sweet Days"

Two stories from the book "Cut Glasses", about the life of Soviet youth, which were not allowed for publication by Soviet censors.

DIMITRI SHLYAPENTOKH, „Resurrection"

A satirical story about the workers of the so called ideological front in the U.S.S.R.

IVAN ZHDANOV "Judas is Crying, Trouble is Afoot"

Poetry, Samizdat

THEODORE GLANTS, "A World Resembling Bedlam"

Poetry, Samizdat

BORIS MOISHEZON, "Of Human Thought and Computer Idols".

A futurological essay by a well-known American mathematician and professor at Columbia University on the future of computers in a democratic and totalitarian society.

VERA WIREN-GARCZYNSKI "Moscow, September 1985"

An account by a professor of Slavic Studies at the City University of New York of her visit to Moscow after Gorbachev's coming to power and her meeting with Victor Louis, a journalist close to the Kremlin circles.

ALEKSANDR FIN, "Once More on 'Algebra of Conscience' ".

A continuation of a discussion of Vladimir Levebre's article "The

Algebra of Conscience or Two Ethical Systems" centering on the fundamental differences dividing two ethical systems, Soviet and Western societies.

NORMAN PODHORETZ, "Jews in the Contemporary World"

An interview with the editor of "COMMENTARY" magazine, Norman Podhoretz. The interview focuses on the more complex and crucial issues of Israeli life and contemporary Jewery.

MILTON FRIEDMAN, "Governments Against the Free Market"

A leading U.S. economist and Nobel prize winner, Milton Friedman discusses the role of the free market in the development of contemporary democratic society, the deleterious role that government regulations have on economy and why totalitarian regimes fear free enterprise arrangements.

LEON TROTSKY, "Why They Repented"

Excerpts from the book "Stalin's Crimes". Trotsky's views from exile on the 1937 show trial. {Edited by Y.Felshtinsky}.

IVANOV-RAZUMNIK, "Destinies of Writers"

Memoirs of a well-known Russian writer and critic about Stalin's purges of writers.

On the front cover: Editor of "Commentary" Norman Podhoretz and Nobel prize winner Milton Friedman.

Overseas Publications Interchange Ltd

Сергей СОЛДАТОВ

Зарницы возрождения. Опыт политической борьбы
и нравственного просветительства
Предисловие А.Авторханова.

Вступительная статья Мартина Дьюхерста
464 с. — 10 ф.ст.

Жорж НИВА

Солженицын. Перевод с французского С.Маркиша
в сотрудничестве с автором
248 стр. Альбом фотографий и библиография
8 ф.ст.

Михаил ГЕЛЛЕР

Машина и винтики. История формирования
советского человека
320 стр. — 8 ф.ст.

Дора ШТУРМАН

Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина
и Троцкого
380 стр. — 9 ф.ст.

Анатолий ФЕДОСЕЕВ

О новой России. Альтернатива
335 стр. — 7.50 ф.ст.

Феликс РОЗИНЕР

Некто Финкельмайер
600 стр. — 6 ф.ст.; в мягком переплете — 7.50 ф.ст.
в твердом
Книга удостоена премии им.Даля за 1980 г.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ РУССКИХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
8, QUEEN ANNE'S GARDENS, LONDON
W4 1TU, ENGLAND

Overseas Publications Interchange Ltd

Владимир ВОЙНОВИЧ

Трибунал. Судебная комедия в 3-х действиях.
Юмор и сатира на высоком художественном уровне.
76 стр. — 2 ф.ст.

Вольфганг ЛЕОНГАРД

Революция отвергает своих детей
590 стр. — 7 ф.ст.

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ

Номенклатура. Господствующий класс Советского
Союза. Предисловие Милована Джиласа
556 стр. — 12 ф.ст.

Ален БЕЗАНСОН.

Русское прошлое и советское настоящее
Перевод с франц. А.Бабича. Предисловие М.Геллера
388 стр. — 7 ф.ст.

Вадим ДЕЛОНЕ

Портреты в колючей раме.
Предисловие В.Буковского. 217 стр. — 4.50 ф.ст.
Книге присуждена премия им.В.Даля за 1984 г.

Павел ТИГРИД

Рабочие против пролетарского
государства. Сопротивление в Восточной Европе
со смерти Сталина до наших дней
Перевод с французского В.Рыбакова.
176 стр. — 4 ф.ст.

Евгений НИКОЛАЕВ

Предавшие Гиппократы
328 стр. — 8 ф.ст.
Книга представляет собой ценное свидетельство о
злоупотреблении психиатрией в борьбе с
инакомыслящими

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГА-ЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫШЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги -15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу: Time and We

**475 Fifth ave, room 511 • A
New York, New York, 10017**



ЭРМИТАЖ

В 1986 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	6,00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	10.00
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 202 с.)	7.00
АЛЬТШУЛЛЕР, Марк, ДРЫЖАКОВА, Елена. "Путь отречения". (Русская литература 1953-1968. 352 с.)	16.50
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с, илл.)	8.00
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, П. ГЕНИС. А. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	5.50
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искушение". (Роман, 160 с.)	8-50
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи, 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 230 с.)	9.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с, илл.)	8.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	8.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	5.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (Философия истории, 250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (Филос, 340 с.)	8.50
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ. Ю. "Мир автора и структура текста". (Статьи о русской литературе, 400 с.)	15.00
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (352 с.)	13.50
КЛЕЙМАН, Людмила. "Ранняя проза Федора Сологуба". (220 с.)	14.00
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
КРЕПС, Михаил. "Булгаков и Пастернак как романисты". (140 с.)	9.00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	7.00
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150 с.)	9.00
ЛУНГИНА, Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с, илл.)	12.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Роман-жизнеоп., 230 с.)	9.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с, 20 илл.)	10.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус, англ., фран., 140 с.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.)	12.00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас, 208 с.)	8-50
РЫСКИН, Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 200 с.)	8-50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200с.)	10.00
ТЕЛЕСИН, Юлиус. "1001 анекдот". (220 с.)	10.00
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 200 с.)	10.00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с, илл.)	7.00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8.50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	7.00
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 с, илл.)	12.00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA

К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке 3-х и более книг — скидка 20%.

АРДИС

Владимир Паперный. КУЛЬТУРА „ДВА“. Советская архитектура 1932 — 1954 гг. 338 стр. Большой формат. Много иллюстраций. 19.50.

Эта книга об архитектуре и других видах искусства, об истории и экономике, об образе жизни и типах социальной организации; о закономерных циклических процессах, первичных по отношению к усилиям отдельных архитекторов, критиков, чиновников и вождей.

Автор развивает гипотезу о наличии двух враждебных друг другу культурных механизмов, поочередно преобладающих в советской культуре, условно названных им культура 1 и культура 2.

„В общем потоке научной и документальной литературы третьей эмиграции книга Владимира Паперного занимает особое место. Сочетая в себе черты глубокого научного исследования и блестящего сатирического памфлета, она удовлетворит читателей с высокими интеллектуальными запросами и не оставит равнодушными ценителей яркого, образного, лаконичного стиля“.

— Сергей Довлатов

Мартин Круз Смит. ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО. 393 стр. 10.00.

Международный бестселлер — в основе материалы многочисленных интервью с эмигрантами из России.

Семен Липкин. КОЧЕВОЙ ОГОНЬ. Стихотворения и поэмы. 167 стр. 6.00.

„Анна Ахматова называла имя Липкина среди наиболее значительных наших поэтов каждый раз, когда речь шла о советской поэзии“.

— Л. Чуковская, ЗАПИСКИ ОБ АХМАТОВОЙ

Книги „Ардиса“ можно приобрести во всех русских книжных магазинах или непосредственно у ARDIS PUBLISHERS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104 USA.

БОРИС ХАЗАНОВ Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ 352 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — „антивремя“, эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое заново.

Повесть „Час короля“ — история вымышленного миниатюрного государства, оккупированного нацистской Германией.

„Я Воскресение и Жизнь“ — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

„Антивремя“ — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема „двойного отцовства“ — русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана автором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоническим языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья. Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы, „Душа мытарствует по России в XX веке“ — в этих словах Блока заключена вся его программа.

Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A, New York, New York, 10017

Цена 15 долларов, включая пересылку

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 54 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We

475 Fifth Ave. suite 511-a. New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина) .

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 550; с целью экономической поддержки журнала 550 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 180; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и Других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:

475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: Сергей Блюмин.
"Гонец". Скульптура.**

